

*А.В. Ремнев, Н.Г. Суворова*

ОБРУСЕНИЕ» АЗИАТСКИХ ОКРАИН  
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ:  
ОПТИМИЗМ И ПЕССИМИЗМ  
РУССКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ\*

На рубеже XIX – начала XX в. аграрное народное движение на новые земли за Уралом стало делом первостепенной государственной важности<sup>1</sup>, и его попытались включить в идеологию так называемого «внутреннего империализма». Русская колонизация должна была обеспечить перспективу «двойного расширения» Российской империи не только за счет приобретения и закрепления новых земель в Азии, но и путем разрастания «имперского ядра» за счет прилегающих к нему окраин<sup>2</sup>. Это был сложный и длительный процесс, который, казалось, мог дать империи большую стабильность и национальную перспективу. Главную роль в этом должны были сыграть русские<sup>3</sup> крестьяне, призванные превратить «чужую» землю в «русскую». Все это позволяло современникам, а затем и историкам интерпретировать миграционные процессы как естественное расселение русских, не упуская имперских мотивов того, что область колонизации, «расширялась вместе с государственной территорией»<sup>4</sup>. Это стало частью формирующегося национального дискурса, включившего в описание «русского дела» семантически значимый понятийный ряд: «мирное завоевание», «оживление» окраин, «возвращение русской гражданственности», а чаще всего «обрусение»<sup>5</sup>. Однако оптимистические надежды, возлагаемые империей на русский народ в деле создания и укрепления «единой и неделимой» России, соседствовали с пессимистическими оценками культуртрегерского потенциала казаков и крестьян.

ИМПЕРСКИЙ ОПТИМИЗМ КОЛОНИЗАЦИОННОГО  
ПРЕВРАЩЕНИЯ «ЧУЖОЙ» ЗЕМЛИ В «РУССКУЮ»

Американский историк В. Сандерланд поставил, на наш взгляд, очень важную проблему: «Было ли переселение феноменом сельского хозяйства или империализма? Было ли это историей колониальной экспансии или внутреннего развития?» Или это являлось и тем, и другим?<sup>6</sup> Во взаимоотношениях власти и туземцев русские переселенцы могли стать важной «третьей силой», способной придать процессу колонизации новое имперское изме-

---

\* *Статья написана при финансовой поддержке Российского государственного научного фонда, грант № 06–01–00417а.*

рение. Однако казаки и крестьяне «не были ни убежденными агентами имперской власти, ни носителями «цивилизаторской» миссии, ни миссионерами»<sup>7</sup>, хотя их стремились возвысить и вкючить в решение геополитических и национальных задач.

В имперском дискурсе термины «переселение» и «колонизация» нередко смешивались, хотя за первым был закреплён аграрный приоритет решения социальных задач крестьянства, тогда как во втором доминирующую роль играли политические интересы государства. «У нас есть переселенческая политика, но нам нужна политика колонизационная», — призывал один видных деятелей колонизационного дела Г.К. Гинс<sup>8</sup>. «Переселение» в таком случае чаще всего предполагало наличие естественного миграционного потенциала у населения, стремившегося решить свои частные проблемы. «Колонизация» же была связана в большей степени с имперской политикой и искусственными мерами регуляции переселенческих потоков. Она была направлена не только на удержание завоеванных территорий, но, главным образом, на расширение пространства «русской земли». Вместе с тем, как заметил один из имперских экспертов по Дальнему Востоку полковник Генерального штаба Л.М. Болховитинов, военно-политические задачи укрепления восточных границ и выселение из Европейской России малоземельных крестьян, чтобы заселить «окраинные пустыри», привели к тому, что «колонизация переплелась с переселением»<sup>9</sup>.

Многие российские историки, географы, этнографы и экономисты утверждали, что «русский крестьянин — колонист по преимуществу», и акцентировали внимание именно на «вольнонародном» характере казачьего и крестьянского движения на восток, подчеркивая при этом, что заселение земель за Уралом прошло самовольно и даже нередко вопреки государству. Правительство лишь воспользовалось результатами миграционного творчества простых русских людей. В такой исторической трактовке представляется важным поворот от прежнего осуждения «вольницы» к попытке дать ей иную интерпретацию, включив в имперскую идеологию. Народная колонизация начинает трактоваться как необходимое дополнение военной экспансии. «Вслед за военным занятием страны, — отмечал известный публицист Ф.М. Уманец, — должно идти занятие культурно-этнографическое. Русская соха и борона должны обязательно следовать за русскими знаменами и точно так же как горы Кавказа и пески Средней Азии не остановили русского солдата, они не должны останавливать русского переселенца»<sup>10</sup>. Для укрепления империи необходимо было создать на окраинах критическую массу русского населения, которое и станет демографической основой государственной целостности. «...Могучее народное движение... заставило власти не только отказаться от мысли остановить это движение и ограничиться регулированием его, но и взять в свои руки руководство им», — утверждал историк М.К. Любавский<sup>11</sup>. Главной движущей силой колонизации становится уже не «природная стихия» крестьянских побегов

от государства, а само государство, которое направляет народные потоки, создает для русских переселенцев защитно-оградительную инфраструктуру, законодательно стимулирует и регулирует размещение русских населенных пунктов<sup>12</sup>. В крестьянском миграционном сознании переселение за Урал могла восприниматься как стратегическая задача, указанная монархом и объединяющая интересы крестьянства и державы. Это придавало миграционным настроениям переселенцев особую легитимность. Вопреки бюрократическим запретам, переселенец верил, что, двинувшись за Урал, делает «царское дело»<sup>13</sup>.

Именно таким инстинктивным сознанием русского крестьянина и постаралась воспользоваться империя, чтобы не только экономически освоить новые территории, но и надежно прикрепить их к государственному ядру. При этом неуклонно подчеркивалось активное участие народа в построении империи. Первопроходцы не только отыскивали «ничьи» земли за Уралом, но и обеспечили «историческое право» державы на их обладание. Присоединение Амура воспринималось как «возвращение» земель, добытых ранее народными массами, а также стихийное движение русских людей на восток, «к морю-океану». Для «степи» использовались мотивы извечной борьбы с ней «леса», защиты земледельцев от «хищничества» кочевников. Сложнее обстояло дело с Туркестаном, но и там русские крестьяне должны были «оживить мертвые земли», помочь восстановить «угасшую» цивилизацию Средней Азии. Высоко оценивались адаптивные способности русского человека, его культурная комплиментарность и миролюбие в отношениях с другими народами.

Самовольное переселение крестьян не прекращалось на протяжении всей имперской истории России, но все больше учитывалось властью, если не сказать, оказалось встроено в ее политические сценарии. Переселенцы в XIX и даже в начале XX в., не считаясь с правительственными запретами, не переставали идти на все еще официально закрытые «внутренние» земли Сибири, Степного края и Туркестана. Крестьянские поселения задолго до включения в состав империи появились на Алтае, в Урянхайском крае, в Маньчжурии и даже на территории Северного Ирана и Монголии. Места, обжитые русским пахарем, могли рассматриваться как потенциально принадлежащие к России. Конечно, русскому человеку не были чужды стремления уйти из зоны досягаемости власти, но стихийно он выполнял функцию, которая могла вполне устроить империю: «он заносит русскую культуру в глубь Азии, цивилизует тамошнюю «орду», он, по его собственному выражению, «русскому царю землю завоевывает», а дипломатам оставалось «лишь оформить это завоевание»<sup>14</sup>. Образ русского «первопроходца» с его отвагой и неудержимым стремлением на новые земли рисовался то испанским конкистадором, то скваттером американского фронта, неудержимо стремящегося на новые места не только с плугом, но так же с винтовкой за спиной и

ножом за голенищем сапога. Все это создавало предпосылки идеологического синкретизма вольнонародной миграции, правительственной колонизации и даже имперской экспансии, соответствовало идее «народного самодержавия», демонстрировавшего патриархально-попечительное отношение к «отсталому», но верноподданному крестьянину.

На протяжении XIX в., хотя и медленно, шел процесс постепенного крушения стереотипа Сибири как «царства холода и мрака», и крестьянин переставал ее «дичиться». Из страны «незнаемой» и «виноватой», места ссылки и каторги она все больше превращается в привлекательный, богатый землей край<sup>15</sup>. Одновременно шло ментальное освоение нового пространства и присвоения его в качестве как «русской земли». Считалось, что Россия как «русский мир», появляется везде, где поселятся русские. Понятие «наше», по замечанию К. Вейса, которое глубоко укоренилось в русском сознании, является ключевым элементом, как для понимания структуры Российской империи, так и для присоединения к России окраин, в особенности Сибири<sup>16</sup>. Изучая редкие сохранившиеся письма переселенцев, В. Сандерланд пришел к предварительным выводам, что те оставались далекими от осознания имперской миссии и выступали своего рода «неимперскими империалистами», по-крестьянски прагматичными во взглядах на туземное население и озабоченными, главным образом, количеством и качеством земли<sup>17</sup>. Но, устроившись на новых землях, они не могли не ощутить их своими, предлагая народные методы их символического закрепления. Главными маркерами, обозначавшими «русскую землю», служили православные церкви, пашни, русские села с кладбищами, над которыми, как и над церквями, возвышались кресты. «Русский хлеб» служил не только предметом питания, но имел сакральное значение. Этим, отчасти, может быть объяснен крестьянский консерватизм в переходе к возделыванию других сельскохозяйственных культур, хотя и более подходящих для природно-климатических условий или иной местности.

Еще одним показателем «обрусения» колонизируемой территории становилась русская топонимия. Путешествующий по Амуру по заданию Морского министерства в 1860 г. известный этнограф С.В. Максимов обратил внимание на способность русских казаков и крестьян давать свои названия географическим объектам. Он писал, что пройдет не много времени, и они все здесь «окрестьят»<sup>18</sup>. По мере административного и народонаселенческого «уплотнения» карты Азиатской России, на ней появляются и новые названия. Если на начальном этапе, во многом благодаря народной инициативе, ойконимы чаще всего были связаны с гидронимами или именами первооснователей, то со временем нарастает православно-русская по семантике топонимия. Важную роль в этом процессе играет так называемая перенесенная топонимия, когда в Азиатской России в массовом порядке появляются названия, связанные с местами выхода переселенцев. За исключением (да и то

не абсолютным) городов, имена остальным географическим объектам: рекам, озерам, болотам, горам, а главное — селениям — присваивались и устанавливались русскими конвенционально с туземным населением и царской властью<sup>19</sup>. Нередко крестьяне преобразовывали туземные топонимы в созвучные им русские названия. С усилением контроля государства за крестьянскими миграциями, возрастает его роль в номинации населенных пунктов. В середине XIX в. западно-сибирский генерал-губернатор Г.Х. Гасфорд уже предписывал давать новым населенным пунктам названия, связанные с именами членов императорской семьи<sup>20</sup>. Широко использовалась практика присвоения поселениям названий, связанных с именами православных святых, явлениями церковной истории, историческими событиями, а также посвящения их общероссийским и местным государственным деятелям, ученым, а то и просто местным чиновникам. На карте Азиатской России появляются названия, несущие откровенно имперскую смысловую нагрузку: бухта Золотой Рог, пролив Босфор Восточный, залив Петра Великого, города Верный, Владивосток, Благовещенск и т.п. В этом же ряду находилась и переименования немецких поселков в Сибири в годы Первой мировой войны — «для удобства русского населения»<sup>21</sup>. В поле зрения ученых попадают не только названия населенных пунктов, но и природно-географических объектов. И дело заключалось не только в установлении некоторых топонимических норм: замена названий признавалась полезной «в деле ассимилирования туземного населения господствующей народностью», определяя «некоторое духовное родство между туземцами и ассимилирующим народом»<sup>22</sup>.

Сцементировать разнородное русское общество на азиатских окраинах призвана была Русская православная церковь. «Русскую землю» крестьянин воспринимал прежде всего как «христианское царство», где живут православные люди. «Политическое владение русскими Сибирью, — отмечал еще в начале XIX в. П.А. Словцов, — равномерно совершалось и в Христианском разуме, через сооружение часовен, церквей, монастырей и соборных храмов. Общее правило тогдашних русских: где зимовье ясачное, там и крест или впоследствии часовня»<sup>23</sup>. В народном сознании закрепляются в качестве сибирско-русских героев: Ермак, Хабаров, Дежнев, Поярков, — появляются местночтимые святые, иконы, популярные места религиозного паломничества и монастыри<sup>24</sup>. В конце XIX — начале XX в. предпринимались попытки устройства за Уралом на казахских и бурятских землях новых и укрепление старых монастырей. Открытие православных храмов, торжественное освящение икон, установление памятников павшим героям, проведение церковных и государственных праздников, юбилей присоединения к России и чествование главных подвижников «русского дела» — все становилось демонстрацией утвердившейся «русскости», что подчеркивали в своих проповедях священники, провозглашали местные губернаторы и генерал-губернаторы,

пропагандировали общественные деятели. Этому были призваны также служить местные музеи, исторические публичные чтения и памятные издания для широких масс. В «обручительных» сценариях (имперском и народном, которые сближались, но все же не совпадали) механизмы превращения «неизвестной» земли в русское христианское пространство включали, таким образом, наряду с хлебопашеством, осмысление ее как богоданную и осененную православной символикой, право на которую закреплено «открытиями», ратными трудами, пролитой кровью и потом русского воина и земледельца.

Если, несмотря на историческое признание стержневой роли народной колонизации, миграционное движение крестьян поздно попадает в поле зрения имперских идеологов, то стремление связать крестьянскую колонизацию с «обрусением» азиатских окраин и «национальным» курсом выглядело еще более инновационным. Единство русского народа, создание «большой русской нации»<sup>25</sup> как политической целостности, представлялись идеологу «обрусения» России М.Н. Каткову главной ценностью. В этом виделась своего рода сверхзадача, которая с 60-х годов XIX в. формулируется в виде нового национального курса на создание «единой и неделимой» России — с центральным государственным ядром, окруженным окраинами<sup>26</sup>. Отсутствие четких границ внутри державного пространства Российской империи действительно создавало предпосылки для расширения этнического ареала расселения русских. Российские имперские идеологи демонстративно отказывались от употребления в отношении азиатских окраин термина «колония», подчеркивая тем самым непохожесть России на европейские колониальные империи. Основным ее отличием от западных мировых держав считалось то, что она представляет собой цельный территориальный монолит, а наличие свободных земель внутри страны сможет служить альтернативой эмиграции и позволит избежать угрозы окончательно потерять часть своего населения. Западноевропейские переселенцы неизбежно утрачивали связь с метрополией, тогда как сельское население России, — писал чиновник Министерства финансов и член Императорского Русского географического общества Ф.Г. Тернер, — «не только не разрывало связи со своим отечеством, но служило, напротив того, большему сплочению этих дальних стран с Россиею». А главным смыслом российского движения в Азии, как утверждал Катков в полемике со своими западными оппонентами, является то, что за военными следует государственная власть и народная колонизация. Размещаясь между инородцами, «русские поселки втягивают их в строй нашей жизни, мирят их с русской властью, и вскоре дают им оценить все выгоды находиться под сенью русского могущества»<sup>27</sup>.

В этих теоретических построениях важно подчеркнуть, что историки, географы, востоковеды и этнографы не ограничиваются описаниями миграционных процессов или правительственной политики, а замечают, что «...Сибирь понемногу принимает облик

русской земли», а «по мере того, как за Камень начинает вливаться русское население, Сибирь-колония постепенно все дальше отступает на восток перед Сибирью — частью Московского государства»<sup>28</sup>. Генерал-губернатор Н.Н. Муравьев напутствовал отправляемых на Амур поселенцев: «С богом, детушки. Вы теперь свободны. Обрабатывайте землю, сделайте ее русским краем...»<sup>29</sup> Возвращавшемуся с Дальнего Востока в 1854 г. через Сибирь в Россию после морского путешествия писателю И.А. Гончарову уже Якутск показался столь родным, что он записал: «Нужды нет, что якуты населяют город, а все же мне стало отрадно, когда я въехал в кучу почерневших от времени одноэтажных деревянных домов: все-таки это Русь, хотя и сибирская Русь!» Известный путешественник и географ Н.М. Пржевальский во время поездки по Уссурийскому краю в 1867—1869 гг. с удовлетворением отмечал, что крестьяне принесли с собою «на далекую чужбину» родные им привычки, поверья, приметы, что они уже быстро перестают тосковать по родине, заявляя: «Что там? Земли мало, теснота, а здесь, видишь, какой простор, живи, где хочешь, паши, где знаешь, лесу тоже вдоволь, рыбы и всякого зверья множество, чего же еще надо? А даст Бог пообживемся, поправимся, всего будет вдоволь, так мы и здесь Россию сделаем»<sup>30</sup>. Даже каторжане Сахалина могли заявить: «Нерадостная судьба наша заставляет позабыть свою родину, свое происхождение и поселиться на краю света, среди непроходимых лесов. Бог помог нам. В короткое время построили дома, очистили долину под поля и луга, развели скот, воздвигли храм, и, вы сами теперь видите, здесь Русью пахнет»<sup>31</sup>. Известный востоковед В.П. Васильев в программной статье «Восток и Запад», опубликованной в 1882 г. в первом номере газеты «Восточное обозрение», призывал перестать смотреть на русских, как на пришельцев в Сибирь, заявляя, что «мы давно уже стали законными ее обладателями и туземцами»<sup>32</sup>. Влиятельный в научном мире и правительственных кругах географ П.П. Семенов-Тянь-Шанский усматривал в этом не просто рост имперской территории, а осуществление грандиозного цивилизационного проекта, когда в результате русской колонизации происходит смещение этнографической границы между Европой и Азией все дальше на восток<sup>33</sup>. Схожими рассуждениями были наполнены не только страницы журналов и газет, научных трудов, но и официальных документов<sup>34</sup>.

Империя не только надеялась использовать крестьянина в деле хозяйственного освоения азиатских окраин, но и стремилась получить народную санкцию территориальной экспансии, которая бы оправдывалась приращением пахотной земли<sup>35</sup>. Архиепископ камчатский, курильский и алеутский Иннокентий, определяя главную цель присоединения к России обширного и почти пустынного Амурского края, уже в 1856 г. отмечал, что она заключается прежде всего в том, «чтобы благовременно и без столкновений с другими державами приготовить несколько мест для заселения русских, когда для них тесно будет в России»<sup>36</sup>. Экстенсивный характер



русского земледелия и демографический взрыв пореформенного времени усилили миграционную мотивацию русского крестьянина<sup>37</sup>. В фольклоре народов российского Востока запечатлелось это жадное стремление русских колонистов к земле и «хитрость», с которой они ее получают. Утверждения, что земля «божья» и «мирская» приобретают в этом контексте дополнительное основание справедливости того, чтобы занять ее, не стесняясь правами местных жителей<sup>38</sup>. Обширность пространства долгие годы отождествлялась в народном сознании с политическим величием империи.

В этих условиях империя могла позиционировать себя в качестве государства, заботящегося не только о ныне живущих, но и будущих поколениях русских людей. «Необходимо помнить, — писал в 1900 г., опираясь на расчеты Д.И. Менделеева, военный министр А.Н. Куропаткин, — что в 2000 году население России достигнет почти 400 млн. Надо уже теперь начать готовить свободные земли в Сибири, по крайней мере, для четвертой части этой цифры»<sup>39</sup>. «В этом отношении для Российской империи, — подчеркивал также приамурский генерал-губернатор П.Ф. Унтербергер, — не имеющей заокеанских колоний, является единственная возможность пользоваться для избытка населения земельным фондом Сибири и Дальнего Востока. Из этого вытекает, что сохранение Сибири и Приамурья составляет для нас жизненный вопрос, так как в противном случае весь избыток населения будет уходить в иностранные пределы в ущерб нашему собственному государству»<sup>40</sup>.

Помимо Сибири и Дальнего Востока таким территориальным резервом, которым империя активно решила воспользоваться со второй половины XIX в., становится Степной край. До этого времени его присоединение к империи обеспечивалось лояльностью казахской верхушки, ограничивалось устройством казачьих укрепленных линий, здесь почти не использовались испытанные в Сибири монастырское или служилое землевладение, а отношение к переселению крестьян оставалось сдержанным<sup>41</sup>. Появление многочисленного русского сельскохозяйственного населения могло нарушить хрупкий баланс интересов, разрушить традиционную систему кочевого хозяйства, что грозило понизить и без того невысокую доходность региона. С 60-х годов ситуация заметно меняется. Степная комиссия в 1865 г. пришла к выводу, что «прочное, крепкое прикование земель этих навсегда к России и постепенное *органическое их слияние* (здесь и далее курсив наш. — А.Р., Н.С.) с нею может быть единственной целью нашей администрации в среднеазиатских владениях». Имперским экспертам теперь кажется, что наступил момент, когда «умиротворение» степи уже произошло, внешние границы империи отодвинуты к югу, поэтому в отношении казахов можно действовать более решительно. «Для распространения между киргизами<sup>42</sup> *гражданственности*, — проявляя идеологический модерн, заключала комиссия, — сближения их с русскими и развития производительных и про-



мышленных сил страны, нельзя не признать полезным и необходимым водворение в степи русского населения, которое, принадлежа к *высшей расе*, будет иметь благодетельное влияние на быт народа и подготовит его к *полному соединению* с Россией. В этих видах колонизация русским населением киргизских степей, которые, вследствие последних завоеваний наших в Средней Азии, обратились во *внутренние провинции* империи, имеет важное значение для всего государства»<sup>43</sup>. В качестве переходного варианта предлагалась полукочевая модель, на чем особенно настаивала западносибирская администрация. Генерал-губернатор Н.Г. Казнаков в середине 70-х годов приходит к заключению, что единственным средством «обрусения» степи «является смешение киргизского населения с русским путем колонизации»<sup>44</sup>. Впрочем, крестьянскому переселению придавалось пока лишь вспомогательное значение, а русские поселения должны были играть роль образцов «русской жизни» и земледельческого оседлого образа хозяйствования. Внедрение «русского элемента» в кочевую среду, казалось, постепенно облегчит задачу окончательного устройства степи в качестве русской окраины. «Совместная жизнь, а также общий труд по очистке рынков, — убеждали специалисты в области переселенческого дела, — сблизят киргиз с русскими и облегчат распространение среди них нашей европейской цивилизации»<sup>45</sup>. Уже в 1882 г. туркестанский генерал-губернатор К.П. Кауфман мог заявить, что Семиреченская область теперь «русская», что «среди самих русских оседлостей, наконец, здесь на первом плане выступают в настоящее время не одни мелкие городки, населенные наполовину татарами, и не одни редкие казачьи станицы с их сибирским полубродячим населением, а зажиточно на степном приволье благодатного края разрастающиеся крестьянские деревни и общины»<sup>46</sup>. Продолжая политику поддержки крестьянского переселения, бывший глава Семиреченской области, а затем степной генерал-губернатор Г.А. Колпаковский задачу «обрусения» связывал напрямую с заботой о русском человеке, который принес с собой «в бывшие ордынские владения русскую веру в православие и русскую беспредельную преданность православному Царю» и представляет «собою лучший залог нашего окончательного упрочения в иноверческом крае»<sup>47</sup>. С началом массового переселенческого движения на рубеже XIX — XX вв. казахская степь становится одним из основных колонизационных районов, объектом пристального внимания имперских теоретиков и практиков<sup>48</sup>.

Включение в состав империи Туркестанского края заставило империю внести некоторые коррективы в колонизационные планы, что было вызвано стихийным переселенческим движением. Гонимые нуждой и увлеченные слухами о благодатном крае, крестьяне сами двинулись в путь, преодолевая огромные пространства и бюрократические препоны. Однако в Ферганской, Самаркандской и Закаспийской областях плодородные и орошаемые земли оказались уже плотно заселены, здесь существовали традицион-

ные формы земельной собственности, чего, скажем, имперские власти не хотели видеть в степной кочевой зоне. Возможности для земельной аренды были не велики, а природно-климатические условия и специфика сельскохозяйственных культур создавали дополнительные трудности<sup>49</sup>. К тому же существовали планы превращения Туркестана в хлопковую сырьевую базу для российской промышленности. Сторонники такой точки зрения скептически относились к идее массового демографического русского оплота в Туркестане и готовы были согласиться лишь с созданием небольших «русских очагов». Однако за социально-экономическими обоснованиями скрывались более важные политические цели. В Туркестане с русской колонизацией все чаще начинают связывать не только «прочность наших владений в Средней Азии», но и снижение государственных расходов на содержание войск<sup>50</sup>. Выход виделся в масштабных мероприятиях ирригации засушливых земель. Только при таких условиях в густонаселенных местах могли появиться «сплошные, заметные и устойчивые оазисы русской сельской жизни и культуры»<sup>51</sup>. В расчет принималось и то, что в мусульманском праве орошенные земли, считались собственностью того, кто их оросил («оживил») <sup>52</sup>. Канал, утверждал В.П. Воицинин, — «лучший памятник здесь европейской культуре, достойная эмблема *нового* Туркестана»<sup>53</sup>. Орошенные земли должны были заселить хозяйственно крепкие русские люди, чтобы их поселения могли, по выражению А.В. Кривошеина, «стать оплотом русского влияния в крае»<sup>54</sup>. Туркестанская администрация шла дальше и призывала окружить кишлаки и аулы кольцом русских поселений, снабдить и научить русских крестьян, по образцу американского «дикого Запада» или африканских белых колоний, обращаться с оружием<sup>55</sup>. После подавления Андижанского восстания 1898 г. в наказание туземцев, поддержавших мятежного ишана, у них отобрали земли, где было создано «Русское село», а в 1916 г. уже намечалось шире использовать этот опыт и конфисковывать земли у бунтовщиков, чтобы рядом с кишлаками появились русские поселки<sup>56</sup>.

Переселенческие чиновники, к которым переходит лидерство в осмыслении социально-экономических задач империи на окраинах, продолжали рассуждать в рамках усвоенной ими цивилизационной миссии России в Азии. Это позволяло им в колонизационном деле найти компромисс между государственной службой и своими народническими идеалами, которые они распространяли не только на все еще «отсталых» русских крестьян, но и наначально «диких» туземцев. Им оставался особенно дорог «народный гений созидательного творчества общинной жизни по-божески»<sup>57</sup>, соединенный со способностью приспосабливаться к новым условиям жизни и находить добрососедские отношения с инородцами. При этом власти и народнические настроенные интеллигенты (нередко соединявшиеся в лице крестьянских или переселенческих чиновников, врачей и учителей) сходились в том, что кочевники являются народом «полу-диким», но способным к развитию, а со-

седство с русскими станет важным стимулом для их «культуризации». Империя стремилась стать более прагматичной и экономически эффективной, привлекая на свою сторону достижения науки. Ирригация должна была видоизменить «физиономию» степей, привести к седентеризации кочевников и одновременно удовлетворить потребности русских крестьян в новых землях. Одновременно шел поиск бесконфликтного варианта для русской колонизации за счет поземельного обустройства туземного населения, урегулирования системы водопользования, масштабных ирригационных работ и облесения. В имперский дискурс была включена «борьба с природой», а просветительский курс на прогрессивное развитие «отсталых» народов, обосновывался новейшими достижениями естествознания и социологии.

Переселенческое движение на восток расширяло не только географию расселения русских, но призвано было консолидировать их как нацию. Объезжавший в 1896 г. переселенческие поселки Западной Сибири управляющий делами Комитета Сибирской железной дороги А.Н. Куломзин писал бывшему воспитателю Николая II генералу Г.Г. Даниловичу, что перед ним прошла своеобразная этнографическая выставка «представителей славянского племени и других племен, обитающих в России»<sup>58</sup>. К началу XX в. за Уралом сложилось довольно пестрое по своему происхождению русское население: старожилы («сибиряки», «степняки», забайкальцы», «амурцы», «дальневосточники») новоселы («русское», «русь», «россейские»), старообрядцы («семейские», «поляки»), казаки. Чаще всего переселенцев называли по губерниям их прежнего места жительства: «курщина», «тамбовщина», «рязанщина» и т.п.<sup>59</sup>. Вместе с тем, переезжавшие за Урал крестьяне не только формировали новые этнокультурные группы (которые выявляли и классифицировали этнографы), определенные местами их выхода, локальной принадлежностью, конфессиональными различиями, но и создавали новую общность на основе общерусской культуры и идентичности, становились «коренным русским населением»<sup>60</sup>. Уже в переселенческом вагоне понемногу сглаживалась «этнографическая пестрота»: «нет уже здесь ни "мазеп", ни "кацапов" — все "сибирские люди", единые»<sup>61</sup>. В смешении разнородных этнических элементов на российском имперском пространстве при преобладании русской культуры и общих хозяйственных интересах формировался на окраинах столь желаемый «здоровый русский тип», который явился бы олицетворением всего «чисто национального русского», расширявшего пределы «матушки Руси». П.А. Стольпину во время его поездки в 1910 г. в Сибирь могло казаться, что именно здесь он сможет отыскать свой идеал русского крестьянина. И эту, начатую инстинктивно, работу русского народа имперские активисты призывали теперь продолжить сознательно, питая надежды на формирование и укрепление «большой русской нации».

Военная наука выделяла в качестве одного из важнейших имперских компонентов «политику населения», предусматривавшую

активное вмешательство государства в этнодемографические и миграционные процессы при решении военно-мобилизационных задач. Народы начинают делить по степени их благонадежности, принцип имперской верноподданности этнических элит стремились дополнить более широким чувством национального долга и гражданского патриотизма народных масс. Военный министр А.Н. Куропаткин оценивал боеспособность азиатских военных округов уже исходя из этнического и конфессионального состава их населения. «В настоящее время Сибирские губернии Тобольская и Томская, в особенности последняя, а также часть Оренбургского края и Северного Кавказа могут считаться значительно обрусевшими. Процесс обрусения наиболее заметен затем в губерниях Енисейской и области Семиреченской»<sup>62</sup>. Территория восточнее Волги была им разделена в этому критерию на четыре района: 1) восемь губерний восточной и юго-восточной части Европейской России; 2) Тобольская, Томская и Енисейская губернии; 3) остальная часть Сибири и российский Дальний Восток; 4) Степной край и Туркестан. Если первые два района, по его мнению, могут быть признаны «краем великорусским и православным», то в третьем районе, который тоже уже стал русским, этот процесс еще не завершился и представляет серьезные опасения в Амурской и Приморской областях ввиду усиливающейся миграции китайцев и корейцев. Еще более опасной ему виделась ситуация в четвертом районе. Поэтому, заключал Куропаткин, «русскому племени» предстоит в XX столетии огромная работа по заселению Сибири (особенно восточных ее местностей) и по увеличению в возможно большей степени русского населения в степных и среднеазиатских владениях<sup>63</sup>.

Председатель Комитета министров и вице-председатель Комитета Сибирской железной дороги Н.Х. Бунге в своем политическом завещании 1895 г. указывал на русскую колонизацию как на способ, по примеру США и Германии, стереть племенные и культурные различия: «Ослабление расовых особенностей окраин может быть достигнуто только привлечением в окраину коренного русского населения, но и это средство может быть надежным только в том случае, если это привлеченное коренное население не усвоит себе языка, обычаев окраин, вместо того, чтобы туда принести свое»<sup>64</sup>. Поэтому нужно снять административные преграды движению крестьян за Урал, так как это может нанести ущерб «великой задаче ближайшего объединения наших Азиатских владений с Европейскою Россиею», — доказывал он. Имелся и еще один аргумент, который выдвигал Бунге: «...возможному напору желтой расы надлежит противопоставить в Сибири культурную силу русского народа, стойко охранявшего целостность государства на всех других его окраинах»<sup>65</sup>. Считалось, что русские крестьяне на азиатских окраинах сильнее, нежели в центре страны, отождествляют себя с Русским государством, которое их защищает и которое они также призваны защитить. Они должны стать непреодолимым оборонительным рубежом на Дальнем Востоке от «желтой опасно-

сти», а в Центральной Азии от поползновений «фанатичного мусульманства».

В последние годы империи крестьянское движение за Урал получило официальный статус важнейшего государственного дела. По признанию депутатов в III Государственной думе переселенческое дело стало «излюбленным детищем», подчеркивая, что переселение на восток при этом превратилось в сложную колониционную задачу. С думской кафедры главной целью провозглашалось: «Заселяя наши окраины восточные, мы создаем оплот русской государственности, и переселение служит, вместе с тем, проводником русской культуры в страну сплошь заселенную инородцами»<sup>66</sup>. Выступая в Государственной думе, премьер-министр П.А. Столыпин прямо заявлял, что русские переселенцы «вдвинутся в край и вдвинут вместе с тем туда и Россию»<sup>67</sup>. Глава правительства стремился включить в национальную политику охрану и заселение земель на востоке империи, «на тучном черноземе которых возможно было бы вырастить новые поколения здорового русского народа», поддержать «хиреющий русский корень»<sup>68</sup>. А.В. Кривошеин, которого публицисты именовали «министром Азиатской России», целенаправленно работал над превращением Сибири и Степного края «из придатка исторической России в органическую часть становящейся евразийской географически, но русской по культуре Великой России». В интервью французской газете «Figaro» (4 февраля 1911 г.) он разъяснял: «Хотя крестьянин, переселяясь, ищет своей личной выгоды, он, несомненно, в то же время работает в пользу общих интересов империи». Местная администрация также воспринимала эту задачу в категориях национальной политики: «Новой жизни, создаваемой переселенцем, с самого начала надлежит придать тот духовный облик, который, гарантируя всему краю и переселенцам, в частности, сильную культурно и экономически жизнь, вместе с тем был бы проникнут истинно русской национальной идеей»<sup>69</sup>. Будущее России виделось связанным с ее демографическим и культурным распространением за Урал и русские переселенцы, отмечалось в официальном издании Главного управления по землеустройству и землепользованию (ГУЗиЗ), должны экономически и духовно скрепить империю, являясь «живыми и убежденными проводниками общей веры в целостность и неделимость нашего отечества»<sup>70</sup>.

#### КАЗАКИ ПОД СОМНЕНИЕМ КАК КОЛОНИСТЫ «ОБРУСИТЕЛИ»

Казаки были издавна включены в процесс русского продвижения на восток и закрепления окраин за империей. Однако, потерявши к XIX в. былую вольницу, они были, по сути, превращены в военных поселян, размещенных вдоль азиатских границ. Государство юридически определило их особый сословный статус, наделило казаков огромными массивами земель. Казачьи войска не

только играли важную роль в военных операциях империи, охраняли государственную границу, но и выполняли внутренние полицейские функции, участвовали в хозяйственном освоении Азиатской России. Однако неудачная Крымская война, военные реформы и расширение азиатских границ на востоке и юге заставили по-новому взглянуть на казачество, которое как эффективная военная сила некоторыми имперскими аналитиками оказалась поставлена под сомнение. «С пятидесятих годов настоящего столетия, особенно после Крымской кампании, — констатировал историк уральского казачества Ф.М. Стариков, — сложилось о казачестве мнение, будто оно утратило все свои прежние боевые качества, а потому на него стали смотреть как [на] войско отсталое...»<sup>71</sup> Введение всеобщей воинской повинности могло бы дать больше солдат, а казачьи налоговые привилегии в обмен на службу не выглядели для казны уже столь привлекательными. Освобождение крестьян актуализировало восприятие казаков как военных поселян, доведенных «до состояния военно-крепостных»<sup>72</sup>. Корень зла виделся в чрезмерном администрировании и сословной изолированности войскового населения, преодоление же негативных явлений виделось в развитии казачества в «гражданском отношении», унификации системы управления и суда, упорядочении земельных прав казачьих войск<sup>73</sup>. Длительные командировки на дальние расстояния для военных операций, охраны границ и коммуникаций не только надолго отрывали казаков от их домов и хозяйства, но и подрывали саму идею организации местного войска, которое защищало бы и государственные рубежи, и собственные станицы. Вместе с тем, империя не имела средств заменить казаков регулярной армией и полицией, что потребовало бы радикальных перемен в военной организации азиатских окраин и затронуло бы целый спектр социально-экономических проблем. Сохранялась неуверенность и в политической стабильности окраин, а постоянно проживавшие здесь казаки были более мотивированы в поддержке как внешнеполитических, так и внутривнутриполитических акций империи. Имелся еще один немаловажный аспект, связанный с включенностью казачества в исторический сценарий империи, подчеркнутый традицией назначения высочайшим атаманом казачьих войск наследника престола.

Если в Сибири роль казаков признавалась сыгранной и их можно было без труда перевести в крестьянское сословие или сохранить в качестве небольших по численности вспомогательных полицейских сил в северных районах, то в степных и дальневосточных областях будущее казачества выглядело далеко неоднозначным. Особенно остро этот вопрос стоял в отношении Уральского, Оренбургского и Сибирского казачьих войск, которые оказались уже далеко от имперских границ, а казахская степь, представлялась, имела шансы окончательно превратиться во «внутреннюю» окраину. «Киргизская степь вовсе не такая опасная страна, как Алжирия, — писал на страницах "Военного сборника"



уже в 1861 г. казачий офицер, будущий известный этнограф, один из лидеров сибирского областничества Г.Н. Потанин, — чтоб здесь была надобность земледельческой колонизации предпосылать военную. Может быть, первые годы колонии и пройдут в некоторой тревоге от степных воришек; но от них и обыкновенные колонисты могли бы защититься»<sup>74</sup>. «Ныне степь по всем направлениям перерезана русскими городами, станицами, укреплениями и коммуникационными пикетами; везде утверждена русская власть, процветают хлебопашество, торговля, воздвигаются храмы истинного Бога, и недалеко то время, когда киргизский народ будет братом нашим по вере и в Искуплении рода человеческого...», — писал другой казачий офицер<sup>75</sup>.

При подавлении в 40-х годов XIX в. в казахских степях восстания Кенесары Касымова стало очевидным, что политика в отношении управления и земельных прав казахов должна быть существенным образом скорректирована, а развитая сеть русских поселений внутри самой степи поможет в «усмирении» казахов<sup>76</sup>. При этом щедрое наделение казаков за службу землей вызывало уже во второй четверти XIX в. сомнение — а не будет ли это препятствовать решению других правительственных задач, и не целесообразнее ли переместить казаков на новые территории, поближе к государственным границам? В Омске уже предлагали сократить численность Сибирского казачьего войска, упразднить Сибирскую казачью линию и окончательно урегулировать земельные отношения казаков и казахов. Из войска в первую очередь должны были быть отчислены недавно вошедшие в его состав крестьяне, как подчеркивалось, не успевшие «потерять навыков к земледельческому труду»<sup>77</sup>. Оренбургская пограничная линия считалась также утратившей свое военное значение, а генерал-губернатор А.П. Безак высказывался даже за ликвидацию Уральского и Оренбургского казачьего войск, хотя это и признавалось преждевременным<sup>78</sup>. За исключением Семиречья в туркестанских областях власти фактически отказались от использования казачьей военно-хозяйственной колонизации. В результате реформы 1868 г. казачьи войсковые земли вошли в состав степных областей, а казаки попали в большую зависимость от местной общегражданской администрации и суда. Выступления казахов, недовольных административными преобразованиями в степи уже были для казаков «в диковинку», а с покорением в 1873 г. Хивы, «этого притона всех непокорных киргизов», считалось, водворилось полное спокойствие, а в степи стало жить также безопасно, «как и внутри России»<sup>79</sup>.

Дискуссия о будущем казачества получила новый импульс в 1865 г. в связи с деятельностью Степной комиссии, которая пришла к заключению, что казачья колонизация внутри степи «отжила свой век», самих казаков лучше передвинуть на новые границы империи, «чтобы их станицы разъединили казахов, живущих по обе стороны российско-китайской границы». Однако попытки пе-



реместить казачьи станицы в новое пограничье имели ограниченный успех, так как станичники явно не хотели оставлять обжитые места<sup>80</sup>. Член комиссии А.К. Гейнс (заяввший впоследствии influential пост в администрации туркестанского генерал-губернатора К.П. Кауфмана), хотя и восторгался историческими заслугами казаков, но признавал их роль лишь в качестве подготовителей места для свободной крестьянской колонизации и русской цивилизации. В дневнике, который он вел во время поездки в Степной край, он выражался еще категоричнее: «Кзакаов, по единодушному и основательному суждению комиссии, нужно обратить в обыкновенных поселян». При этом он ссылался на мнение компетентных лиц, которые также бранили казаков на все лады. По его словам, западносибирский генерал-губернатор А.И. Дюгамель отзывался о них как «о бремени для правительства, одинаково бесполезном и в политическом, и военном отношениях»<sup>81</sup>.

Помимо всего, нарастающий казачий патриотизм, обостренный чувствами утраты казачьих привилегий и социально-экономическими катаклизмами, мог внушать опасность в будущем. Не случайно среди сибирских областников оказалось несколько казачьих офицеров, а формирующаяся казачья интеллигенция готова была политически актуализировать «казачий вопрос». События 1865 г., связанные с открытием заговора «сибирских сепаратистов», не случайно взволновали А.К. Гейнса, недавно служившего в Западном крае и Польше. Он с тревогой писал по этому поводу: «нельзя, безусловно поручиться за то, чтобы с течением времени казаки не стали в руках господ, в роде Потаниных et C<sup>o</sup>, враждебны Правительству». «В политическом отношении казаки не приносят в степи той пользы, которую можно ожидать a priori, — заключал Гейнс. — Эти люди, нарядившиеся в киргизские халаты, говорящие со своими детьми по-киргизски, называющие приезжих из-за Урала русскими, а себя казаками, едва ли могут служить орудием обрусения в степи»<sup>82</sup>. Впрочем, оппонируя ему, другой известный знаток Степного края И.Ф. Бабков прямо признал, что перед казаками и не могло стоять такой задачи. При этом он бросил очень важный, на наш взгляд, упрек Гейнсу и другим «обрусителям» в том, что они не объяснили, что же следует понимать под этим понятием. «Нельзя понимать под словом "обрусение" одно только усвоение русских обычаев, привычек и вообще внешней обстановки русской жизни»<sup>83</sup>. Успехов можно будет добиться, доказывал он, только путем нравственного и умственного развития инородцев, а это задача в первую очередь школы, но никак не казаков.

Другой военный эксперт по Азии М.И. Венюков также не был склонен идеализировать колониционный порыв казаков даже в прошлом, утверждая, что они устремились на восток, «влекомые духом предприимчивости и корыстолюбием». С окончанием XVII в. эпоха «разгула казачьих атаманов-завоевателей», по его словам, завершилась, и инициатива окончательно перешла к пра-

вительству. Но казаков еще долго продолжали использовать в качестве завоевательной и устроительной силы, «которые суть и воины, и земледельцы вместе». Будучи сторонником свободного заселения азиатских окраин, Венюков призывал употреблять казаков в дело колонизации как можно меньше<sup>84</sup>. Экономические неудачи устройства казачьих поселений в казахских степи и Амурском крае, объяснялись им искусственным характером расселения, бюрократическим попечительством и военно-поселенческой регламентацией. Ему даже казалось, что казачьих поселений внутри степи должно быть немного, они как в экономическом, так и политическом смысле малоэффективны. «Национальности своей мы киргизам, как номадам и мусульманам, также не привьем, наших колонистов не обогатим, а скотоводство уменьшим — это наверное»<sup>85</sup>, — заключил он. К занятию же земель кочевников под казачьи станицы Венюков призывал относиться осторожно, опасаясь тем самым побудить кочевников к нежелательным миграциям или даже к восстаниям<sup>86</sup>. Уже сейчас, писал Венюков в начале 70-х годов, можно сократить численность Сибирского и Оренбургского казачьих войск, особенно в той части, которая живет вдали от границ. Перевод части казаков в гражданское состояние дало бы возможность за их счет содержать здесь два полка регулярной кавалерии, «которые внушали бы среднеазиатцам больше страха, чем втрое большее число теперешних казаков»<sup>87</sup>. В это же время западносибирская администрация, поддержанная Военным министерством, уже склонялась к смешанной колонизационной комбинации и планировала продолжить линию казачьих поселений вдоль китайской границы на юг, но степной «тыл» обязательно заселить крестьянами.

Еще в большей степени, чем в степных областях, империя не была готова полностью отказаться от услуг казаков, как воинов и земледельцев, на Дальнем Востоке, где их заменить (особенно на первых порах) было просто некем. Крестьянская колонизация здесь шла крайне медленно, а содержать регулярные войска из-за отсутствия хозяйственной инфраструктуры и развитых коммуникаций оказывалось чрезмерно дорого. Казачья колонизация на Амуре отличалась от других окраин еще более строгой регламентацией, что отрицательно отразилось на ее экономической эффективности. При выборе мест для казачьих станиц руководствовались прежде всего удобством устройства коммуникаций, чтобы расстояния между населенными пунктами были по возможности одинаковыми, равными почтовому перегону. Переселение казаков не обеспечивалось достаточными средствами, проводилось, как заметил чиновник для особых поручений казачьего отделения Главного управления Восточной Сибири Б.К. Кукель, лихорадочно, поспешно, с ошибками и трагическими последствиями. Впрочем, генерал-губернатор Н.Н. Муравьев это хорошо понимал: «Знайте, что наше дело — занять край как можно скорее, мы не должны терять ни минуты времени; если мы не выполним нашей

задачи сегодня, то завтра нам могут совсем не позволить; наши ошибки после исправят»<sup>88</sup>. За всем этим стояло стремление удешевить закрепление края за Россией, избежать обвинений, что приобретается еще одна ненужная окраина, которая только и будет требовать средств и сил из внутренней России.

Принудительное расселение казаков, сопровождаемое казенным попечительством, как подчеркивалось критиками казачьей колонизации, создало население апатичное, привыкшее к опеке. Казачество влачило по большей части в первые годы жалкое существование и было, как отмечал Н.М. Пржевальский, деморализовано, испытывая открытую неприязнь к новому краю<sup>89</sup>. Вместе с тем, упор на водворение казачества в поморской стране, где нужно развивать преимущественно морские промыслы, заметил в 1872 г. приморский военный губернатор контр-адмирал А.Е. Кроун, не отвечает «общей идее гражданского развития», а казачье военное заселение, хотя и веками освященное, явление ныне исторически отжившее<sup>90</sup>. «Откровенно говоря, ни одно из этих казачьих войск не удовлетворяет боевым требованиям военного времени, — вынес свой приговор в 1880 г. Пржевальский. — Сносны еще только казаки забайкальские; остальные же, пожалуй, будут немногим разве лучше наших противников, т.е. китайцев и монголов. ... Дома же казак воин — не воин, крестьянин — не крестьянин. На сельскохозяйственные работы он смотрит с презрением, считая такое дело принадлежностью мужика. Поэтому, несмотря на самые благоприятные условия, в которых находится большая часть казачьих поселений, их обитатели живут, если не в бедности, то, во всяком случае, далеко не в том довольстве, каким могли бы пользоваться при меньшей лени со своей стороны»<sup>91</sup>. Обследовавший в 1882 — 1883 гг. Северо-Уссурийский край подполковник Генерального штаба И.П. Надаров также отмечал, что казачье население по немногочисленности и по некоторым условиям своей жизни не может решить задачи утверждения инородцев под русской властью, для этого нужно массовое крестьянское переселение, которое к тому же будет более полезным в экономическом освоении края<sup>92</sup>.

На рубеже XIX — XX вв. вопрос о продолжении казачьей колонизации поднимается в связи с так называемой «желтой опасностью». Местные власти решительно потребовали усилить русский казачий элемент в Приамурском крае, «дабы там создать железную грудь, о которую разбились бы всякие враждебные попытки желтой азиатской расы». При этом высказывалось пожелание получить «трудолюбивые элементы, одинаково пригодные как для отпора неприятелю, так и для тяжелого сельскохозяйственного труда в диких, нетронутых культурой местах»<sup>93</sup>. В 1891 г. империя могла располагать в Приамурском крае лишь 24 тыс. солдат, тогда как, по оценкам британских военных аналитиков, для успешной обороны от возможного нападения Китая необходимо было иметь 100 тысяч<sup>94</sup>. Понимая экономическую нереальность замены казаков ре-

гулярными войсками, приамурский генерал-губернатор С.М. Духовской настоял на дополнительном отводе казакам огромного массива новых земель, а в 1895–1899 г. в Приморскую область прибыло 5419 переселенцев-казаков<sup>95</sup>. Несмотря на абсолютный рост численности казаков в Приамурском крае, приток сюда крестьян прогрессивно нарастал, и именно они стали в начале XX в. определять облик дальневосточной окраины.

Как и в случае «десятиверстной полосы» на Иртыше, 100-десятинный «отвод Духовского» охватил наиболее плодородные и удобные земли, где крестьянам запрещалось селиться. Работавшая в Забайкалье в 1901–1903 гг. земельная комиссия, возглавляемая А.Н. Куломзиним, пришла к выводу, что «так называемая казачья колонизация» не может ни по каким основаниям именоваться колонизацией, ибо она находится в полном противоречии с действительными колонизационными задачами – плотно заселить пустующие земли и обратить их в культурное состояние<sup>96</sup>. Считалось, что крестьянское переселение при тех же земельных ресурсах даст в четыре–пять раз больше жителей. Казачья колонизация, рассчитанная на чрезмерно высокую обеспеченность земельными наделами, по мнению ГУЗиЗ, не способна выполнить ни военной, ни экономической задачи, что крестьяне предпочтительнее с хозяйственной точки зрения, так как они создадут в крае частную собственность на землю, тогда как казаки «связаны ничуть непоколебимым общинным строем»<sup>97</sup>. В новом столыпинском аграрном курсе казаки явно отошли на второй план, а их права на земли, как считалось, только тормозят массовое крестьянское переселение<sup>98</sup>.

В развернувшейся полемике во внутриправительственных комиссиях и на страницах научных и общественных изданий самым неожиданным оказалось то, что казаки на азиатских окраинах были поставлены под сомнение не столько как военная сила, сколько в качестве земледельцев, а их значение в качестве «обрусителей» окраин оценивалось крайне низко. Теперь уже считалось, что казачьи земли используются неэффективно, а сами казаки не являются примерными хлебопашцами. Казачий вопрос оказался включен в более широкий контекст дискуссий о свободной или принудительной колонизации.

В изменившихся военно-политических условиях, когда на первый план выдвинулись задачи экономического освоения и «слияния» азиатских окраин с коренной Россией, казаки уже выглядели сомнительными культуртрегерами, прежде всего с точки зрения распространения земледелия среди кочевников. Действительно, казаки, как русские первопоселенцы, не были знакомы с условиями хозяйствования на азиатских окраинах, нередко оказывались «ниже туземцев и попали к ним до некоторой степени в науку». Как и аборигены, они предпочли заняться пушным промыслом, рыболовством и скотоводством, а наиболее доходной на первых порах считалась торговля, которая фактически граничила с откоро-

венным грабежом местного населения. Земледелие не получило успешного развития у казаков, а казенный паек «обеспечивал первые потребности жизни на первых порах, но, в то же время, будучи, так сказать, даровым и обязательным, исключал настойчивость и энергию в труде, поддерживая этим отрицательные стороны характера»<sup>99</sup>. Даже те, кто не отрицал значения казаков как военных колонистов, признавали их низкую эффективность в роли земледельцев. Так, И.Ф. Бабков признавал, что до работ Степной комиссии заселение степи шло бессистемно и имело искусственный характер, а обеспеченные на первое время казенными средствами, имея возможность получать доходы от торговли или от скотоводства, казаки мало заботились о земледелии, фактически отказались использовать орошение<sup>100</sup>. Главным объяснением бедности многих казаков, которое выставлялось в оправдание их защитниками, заключалось в указаниях на трудности военной службы, а также неудачное размещение казачьих станиц, что было обусловлено задачами охраны границ и транспортной инфраструктуры, а не хозяйственной целесообразностью.

Однако имелись и другие причины. «Прежняя постоянная военная служба на постоянном содержании от правительства, по словам казачьего офицера и казачьего историка Ф. Усова, приучила сибирских казаков к беззаботности об удовлетворении своих жизненных потребностей собственными силами, а экспедиции в степь, дававшие им случай к безнаказанным добычам от киргизского населения, развили у них непривычку к систематическому хозяйственному труду, склонность к легкой наживе и праздности»<sup>101</sup>. Служба на пикетах приучала к безделью и выступала своего рода «школой лени», — также заметил востоковед В.В. Радлов<sup>102</sup>. Не лучше укладывалась ситуация в Оренбургском войске, где также отмечалось, что нахождение на пограничных кордонах или исполнение полицейских обязанностей в степи вели к утрате боевых способностей, а казаки «портились вследствие дурных примеров и праздности»<sup>103</sup>. Схожие оценки содержались и в официальных отчетах: «Сибирские казаки, не состоящие на службе, долгое время получали содержание от правительства и оттого многие из них отвыкли от труда и предались праздности»<sup>104</sup>. Сами казаки землю почти не обрабатывают, предпочитая сдавать в аренду, и «такой легкий доход обеспечивает для них безбедную и совершенно праздную жизнь; ремеслами казаки также почти не занимаются; крестьяне, наоборот, весьма трудолюбивы»<sup>105</sup>. Вид казачьих станиц «невзрачен», улицы «неправильные», «небрежность» в постройке жилья, просматривается явная «недомовитость» казаков, отсутствие у них забот о «внешнем порядке». Из таких оценок, делаясь, как правило, вывод: «Крестьянин, несомненно, более положительный тип, а как экономическая сила и более сильный и желательный элемент в замиренном крае, нежели казак...»<sup>106</sup>

Но даже тогда, когда казаки занимались хлебопашеством, оно оставалось примитивным с точки зрения современной агрикуль-

туры. Почти все наблюдатели отмечали, что казаки используют землю все еще экстенсивно, значительная часть занятий казаков лежит вне сферы земледелия (скотоводство, рыболовство, охота, садоводство, лесной промысел, пчеловодство). О казачьем хозяйстве писали, что оно ведется по-старинке: «так наши отцы пахали, и мы также будем пахать», а земельные просторы давали возможность не заботиться о восстановлении плодородия почвы<sup>107</sup>. В колониционном треугольнике казак-инородец-крестьянин симпатии большинства наблюдателей явно принадлежали последнему. «Ни киргиз — абориген Семиречья, ни казак — его последний завоеватель — не умеют обращаться с землей и, ковыряя ее легендарными орудиями, ведут анекдотическое хозяйство. Только с приходом переселенцев появились усовершенствованные способы обработки земли, повысившие урожайность и облегчившие тяжелую борьбу с царицей пустыни — сорной травой. Они же обогатили плодосмен различными, до сих пор неизвестными здесь культурными злаками, как, например, рожью и разновидностями пшеницы...»<sup>108</sup> При этом прибавлялось, что крестьянская колонизация степи принесла уже ту культурную пользу, что «разобщила киргиза-номада от казака, влиявшего на него крайне деморализующим образом и познакомила его с более симпатичным оседлым населением и оседлой жизнью»<sup>109</sup>. В развернутой характеристике сибирского казачества, которую дал в 1877 г. акмолинский военный губернатор В.С. Цытович, явно преобладали негативные оценки и неутешительные прогнозы, лишавшие казаков исторической перспективы. «Между тем, какой тормоз составляют казаки для развития гражданственности в степи, — доказывал губернатор. — Будь они государственными крестьянами, их можно было бы расселить по всей степи и тогда, не будучи отрываемы от своего домашнего очага на периодическую строевую службу, они могли бы отлично устроить свое хозяйство, и оказывали бы действительно благотворное влияние на цивилизацию киргизов»<sup>110</sup>. Из канцелярии семиреченского военного губернатора Г.А. Колпаковского могли появляться документы, где уже с откровенным осуждением говорилось, что казак не вносит «в экономическом смысле ничего кроме ложно понятого, тунеядством созданного и жадностью развитого, права собственности. От основания станицы или выселка киргиз не получает никакого рынка сбыта и, кроме водки, купить ничего не может». Казак только «извращает» землю, «разоряет» ее, используя примитивную переложную систему<sup>111</sup>.

Однако весь этот критический пафос оценок не означал полного отрицания исторических заслуг казаков и их военного значения в крае в будущем. Речь пока шла лишь о смене колониционных приоритетов в пользу крестьян. В конце концов казачество сохранили как легкую кавалерию и пограничную стражу. Казаки оказались нужны как полицейская сила и чиновники среднего и низшего административных звеньев, так как, «проживая с детства в постоянном общении с ближайшими соседями родных своих

станец и хуторов киргизами, хорошо знают киргизский быт и внутреннюю жизнь кочевников, а также прекрасно владеют киргизской разговорной речью» и могут служить связующим элементом «между уездною администрациею и киргизским народом, узнавая при своей ловкости и знания языка и народной жизни затаенные намерения и стремления мусульманской среды»<sup>112</sup>. За казаками закрепилась репутация надежных агентов для непосредственного и постоянного наблюдения за кочевниками. Вместе с тем, какого-то определенного правительственного курса в отношении казачества так и не было выработано, а критика в адрес казаков как земледельцев и русских культуртрегеров продолжала нарастать.

Не могла не беспокоить и сложность отношений, которые складывались между казаками и крестьянами-переселенцами. Признавая социальную близость и русскую общность с ними, казаки демонстративно выделяли себя из крестьянской массы, а экономическая напряженность в землепользовании грозила перерасти в острый социальный конфликт. Нарастала проблема так называемых «иногородних» в казачьих станицах<sup>113</sup>. Слышались обвинения, что «голодные и подчас обнаглевшие иногородцы» живут за счет казаков, хищнически относятся к землям и угодьям на казачьей войсковой территории, куда их неосторожно впустили когда-то из милости. Они отбирают у казаков его «кусочек хлеба», захватывают пастбища, безнаказанно ловят рыбу в казачьих озерах, выбивают дичь в войсковых лесах, при этом «сотой доли не несут той тяготы, что несет казак»<sup>114</sup>. Их влияние на казаков имеет растлевающее воздействие, так как «большая часть их — это тот пролетариат, который никак не мог устроиться у себя на Руси и для которого в большинстве служит девизом — “все можно”!» Именно им приписывалось распространения воровства, малоизвестного ранее внутри казачьей среды.

Помимо всего, казаки попали под подозрение в сохранении ими «русскости» и утверждения положительного русского имиджа среди туземного населения. На севере и северо-востоке Азии казаки, как отмечалось почти всеми, кто побывал там, утратили былой воинский дух, халатно относились к своей службе, некоторые из них даже не говорили по-русски, совершенно слившись с местным населением. В 1875 г. начальник иркутского жандармского управления В.О. Янковский, оценивая боеспособность казачества в Охотско-Камчатском крае, доносил: «Лихости и молодчества, столь свойственных славному русскому казачеству, здесь совсем не видно, это скорее напоминает какое-то непривыкшее к строю и дисциплине ополчение, вдобавок дурно вооруженное»<sup>115</sup>. «При таком порядке вещей, — заключал дальневосточный чиновник Савримович, — теряет казна, несет непроизводительные расходы, теряет край, по отношению к которому казаки стали гостями, а не работниками, и теряют сами казаки, превращаясь в тунеядцев, не говоря о деле, к которому они приставлены»<sup>116</sup>. За якутскими казаками устойчиво закрепилось название «забытых»<sup>117</sup>. Не



случайно, именно казаки-первопроходцы и их потомки попали в поле зрения разного рода наблюдателей, поднявших тревожный вопрос об «объинородничаньи» русских на азиатских окраинах. Подобного рода оценки могли транслироваться в целом на казаков восточных окраин. Так, Н.М. Пржевальский, подкрепляя свой вывод авторитетом ученого, сделал общее заключение: «Ассимилирование происходит здесь в обратном направлении. Казаки перенимают язык и обычаи своих инородческих соседей; от себя же не передают им ничего. Дома казак щеголяет в китайском халате, говорит по-монгольски или по-киргизски; всему предпочитает чай и молочную пищу кочевников. Даже физиономия нашего казака выродилась и всего чаще напоминает облик своего соседа — инородца»<sup>118</sup>, — а леньность казаков и многие другие отрицательные качества в их поведении и характере объявлялись следствием регрессивного воздействия туземцев. Своего рода этнографическим символом «объинородничанья» казака стал халат. В.В. Радлов в 1862 г. отметил в своем дневнике как весьма распространенное явление, что казаки в казахской степи не только дома носят халаты, но и могут явиться в нем и на службу<sup>119</sup>. У забайкальских и дальневосточных казаков широкое распространение получила меховая одежда, напоминавшая одеяние аборигенного населения<sup>120</sup>. Отмечалось также, что повседневным платьем казака считается бешмет или халат «киргизского покроя». «Русский сарафан и кокошник неизвестны коренным казачкам». В пище казак часто употребляет баранину, а вот традиционные русские каши редки. Не отличаются казаки и набожностью, редко посещают церковную службу, хотя обряды исполняют исправно, на судьбу не ропщут, но, в отличие от крестьян, не ищут утешения в молитве<sup>121</sup>. Уральские казаки всерьез обсуждали вопрос о введении особой военной формы для степных казачьих войск, наподобие того, как это было сделано на Кавказе<sup>122</sup>. На вопрос Г.Е. Катанаева, зачем казак носит казахский бешмет, кумыс пьет и говорит «по-киргизски»? — ему один из казаков объяснил: «По-киргизски, ваше выс-б-дие, нельзя нам не говорить, потому с киргизским языком можно всю степь изойти; а киргиза когда дождешься как начнет он по-русски говорить, худо учится, русский язык не киргизский — мудреный язык, ему скоро не выучишься... А что бешмет мы любим, да кумысом не брезгаем, так мы так полагаем, что в этом худого ничего нет; если бешмет удобен, отчего не носить, а кумыс вкусен, почему его не пить; кумыс и господа офицеры кушают...»<sup>123</sup> Именно утрата чистоты русского языка, а также некоторый религиозный индифферентизм казаков вызывали наибольшие опасения. Пугало и то, что даже между собой казаки начинали говорить на местных языках, а их дети с трудом усваивали русскую речь. Однако в социальной и религиозной сферах процесс утраты русских и православных черт проглядывал менее заметно<sup>124</sup>, чем в хозяйственных практиках, бытовых заимствованиях и лингвистическом словаре казаков.

Казаки напоминали людей американского «фронтира», «срединной земли» (middle ground), где шел активный процесс взаимообмена культур и рождения новых идентичностей<sup>125</sup>. Антропологический тип казака-старожила действительно имел своеобразные черты, однако неславянский элемент в казачестве не был значительным, если не считать особых казачьих формирований из инородцев, главным образом, из бурят. Вместе с тем, показательны сравнения казаков с другими категориями русских. Именно в Забайкалье эти отличительные черты более всего бросались в глаза, а местные старообрядцы («семейские»), ревниво оберегавшие не только старую веру, но и русские традиции, к сибирякам себя не причисляли, считая последних людьми без корней и ленивыми, хуже которых были только обурятившиеся казаки<sup>126</sup>. Однако и в Сибирском казачьем войске, где нерусских насчитывалось немного, большинство наблюдателей отмечали «уклонения от русского типа к монгольскому»<sup>127</sup>. Это стало следствием смешанных браков в начальный период жизни казаков в Сибири. В целом же, несмотря на антропологическую специфику, бытовые и даже языковые заимствования, казаки оставались в рамках русской народной культуры, однако наблюдателями эта «инаковость» не могла не фиксироваться и подавалась как угроза.

Полицейская служба, причастность к злоупотреблениям местной администрации также не способствовали формированию положительного образа казака как представителя русского народа. Для социально обостренного народнического дискурса были особенно показательны обвинения казаков в эксплуатации инородцев. В такой ситуации, казаки, которые активно использовали инородцев и даже крестьян-переселенцев в качестве наемных работников, могли восприниматься общественным мнением в виде эксплуататоров. Ориентальный и колониальный дискурс, таким образом, замещался социальным, который оказывался более приемлемым для народнически настроенного российского общества, включая и часть местных чиновников. Действительно, казаки редко обходились силами собственных семейств, тогда как крестьяне вели пашню «своим горбом». С некоторым цинизмом казаки рассуждали: «Киргиз на то он и киргиз, чтоб в работниках служить; а у мужика на то и руки сделаны как крюки, чтоб за сохой ходить; мужик берет горбом, а казак умом, да казачьей сметкой. Нашего брата бьют на службе, когда на мужика похож»<sup>128</sup>. В Прииртышской степи преобладал тип казака, который, как описывал уроженец этих мест Г.Н. Потанин, «ловкий торговец, кулак и плохой работник. При домах содержатся наемные работники, почти все из киргизов; сами же казаки предпочитают проводить время в разъездах по аулам для сбора своих долгов»<sup>129</sup>.

Казачий офицер, а потом и генерал, видный исследователь Степного края Г.Е. Катанаев с позиций защитника интересов казачества, пытался хоть как-то парировать эти обвинения, выдвигая в качестве аргумента то, что казаки положительно влияют на прили-

нейных казахов, особенно бедняков (так называемых джатаков), способствуя не только их седентеризации, приобщению к хлебопашеству, сенокосению, а также усвоению элементов русского быта. «В сущности, казак и джатак-работник, как бы созданы друг для друга и было бы большою потерей как для того, так и для другого, если бы их насильно развели»<sup>130</sup>. В самом деле, для казаков, имеющих большие земельные наделы, казахская беднота служила дешевой и доступной рабочей силой. Для последних же наем на работу к казакам мог стать способом выживания в голодные годы и признавался наименьшим злом. Ситуация облегчалась тем, что казаки почти поголовно знали казахский язык и могли легко объясняться со своими работниками. Катанаев даже с некоторой симпатией писал, что в хозяйственном отношении и своем быту казак сам «полу-киргиз» и потому более привычен казаху, чем крестьянин или мещанин, еще «не спевшиеся с киргизами и не понимающие друг друга».

Однако доминирующими в общественном восприятии оставались оценки значения культурного воздействия казаков на туземное население как минимального и даже отрицательного. Такой взгляд нагнетался авторами публицистических и научных сочинений и мог быть включен во внутриправительственную полемику о казачестве. Если для народов Сибири объектом социальной критики становились русские торговцы, промышленники и кулаки, то в степи считалось, что тлетворное влияние на инородцев исходит главным образом от казаков. «Сопоставляя между собою два населения оседлое и кочевое, не трудно прийти к заключению, что оседлые жители — казаки, ничего полезного не передали из своей жизни кочевнику, — выдвигалось экспертное заключение при обсуждении вопроса о колонизации степи в Омске. — ... Всякое сообщничество с этим сословием может принести один лишь только вред степному киргизу, который в умственном отношении ничего не приобретет от казака, а в нравственном, быть может, даже и теряет»<sup>131</sup>. «Нужно сказать, что духовная, нравственная сторона киргиз не изменяется к лучшему от соседства с русскими, т.е. с казаками, ленивыми, невежественными жадными, и переселенцами из России, на которых киргиз смотрит, как на врагов, лишаящих его лучших угодий», — заключал в своем обзоре, посвященном Сибири, П. Головачев<sup>132</sup>.

Многие из наблюдателей, особенно те, кто симпатизировал казакам и русским переселенцам, продолжали настаивать на взаимовыгодных и даже дружеских отношениях между ними и инородцами, хотя и признавались, что «некоторые» эксцессы все еще случаются. Очевидно, народнически настроенных интеллигентов, такие «отклонения» не могли не раздражать, и они надеялись, что взаимоотношения казаков и туземных жителей будут в будущем строиться на дружеской основе. Вместе с тем, они не могли не замечать, что казаки относятся к инородцам с чувством превосходства или выступают в роли их угнетателей<sup>133</sup>. Публицисты и ученые не

могли игнорировать факты, когда казаки относились к бурятам, как к низшему племени<sup>134</sup>, на китайцев могли устроить охоту<sup>135</sup>, а казахов безнаказанно ограбить и даже убить, заявляя, что в этом нет особого греха, так как у инородца души нет, а только — «пар». «Он смотрит на себя прежде всего как на "слугу царского", — описывал казаков в научно-популярном издании А.Н. Седельников, — гордится своим привилегированным положением, держит себя свысока в отношениях с крестьянином, которого унижительно именуется "мужиком", а к казаку относится вообще презрительно, называет "собакой", обмануть или обругать которого — обычное явление»<sup>136</sup>. За инородцами казаки нередко не признавали ни прав личности, ни собственности, пользуясь правом сильного. А.Н. Куропаткин, хорошо знавший порядки, царившие на азиатских окраинах, подвел в 1910 г. неутешительный итог: «Первыми русскими пионерами в Семиречье были сибирские казаки, которые вместе с массой положительных качеств, присущих сибирякам, принесли также презрение к туземцу, на землю которого садилась, взгляд на лес как на врага земледелия, и хищнический способ эксплуатации почвы, т.е. залежную систему землепользования»<sup>137</sup>.

Казаки и в самом деле чувствовали себя хозяевами в степи и не готовы были только продолжать захваты земель кочевников, но и ревниво отнеслись к появлению новых земельных конкурентов — крестьян-переселенцев. Все это запутывало и без того непростую систему социально-экономических и правовых отношений, приводило к росту напряженности в районах, которые уже представлялись имперским властям «замирёнными». Оказавшись в численном меньшинстве среди инородцев, казакам, обремененным не только военными и хозяйственными задачами, но и административно-полицейской службой, приходилось преодолевать коммуникативные барьеры и активно изучать языки туземцев, не надеясь, что последние скоро овладеют русским языком. Вместе с тем, адаптация к условиям окраин и знание туземных языков не только могло оцениваться в качестве положительного факта, но и внушать опасение, что казаки настолько будут втянуты в чужую культуру, что потеряют свою «природную русскость». При этом они признавались «неэффективными обрусителями», заметно уступая в этом русскому крестьянству.

#### «КУЛЬТУРНОЕ БЕССИЛИЕ» РУССКИХ КРЕСТЬЯН И УГРОЗЫ УТРАТЫ «РУССКОСТИ»

Во второй половине XIX — начале XX в. политические приоритеты государства на азиатских окраинах меняются: от узкой задачи — заселения любым, в том числе хозяйственно «слабым населением», или конфессионально и социально «чуждыми» старообрядцами, сектантами и даже уголовными ссыльными, произошел поворот к более широкой — созданию экономически устойчивого и культурно доминирующего русского населения, которое сможет

прочно скрепить империю. С трибуны Государственной думы уже утверждалось, что Сибирь — это «экстракт всей России», где «малороссы, и южно-русские жители и северяне, и из центра России пришедшие», объединяются в «своеобразный тип сибиряка». Однако нужно, чтобы это «общерусское население» сохранило «преданность государству как целому»<sup>138</sup>, а проблемы «оскудения центра» не должны вести к забвению интересов окраин. Русские на азиатских окраинах были призваны не только закрепить за Россией новые земли, но и продемонстрировать местному населению превосходство русского земледелия и оседлого образа жизни, выступить в роли демократического культуртрегера. Однако, вопреки идеологическим установкам, реальный уровень социокультурного и хозяйственного развития русского крестьянина не имел существенного превосходства над инородцами. Национальность переселенца, а вместе с ней и набор морально-нравственных и хозяйственных качеств начинают волновать власть и общество тогда, когда на первый план выходят проблемы колонизации региона, а не только решения аграрного вопроса во внутренних губерниях России. Такие проблемы становятся особенно актуальными в пространстве «пограничья», каким еще оставалась не только вся Сибирь, но в еще большей степени Дальний Восток, Степной край и Туркестан, где этноконфессиональная ситуация выглядела запутанной и политически напряженной.

В Азиатской России интеллигенция — особенно те, кто был связан с переселенческим делом и мог влиять на политический курс правительства, — предпочитала смотреть на русских крестьян, как на «отсталых», требующих не только правительственного попечительства, но и поднятия их культуры<sup>139</sup>. Главным образом, это касалось неспособности переселенцев самостоятельно организовать на новых местах рациональное хозяйство, что грозило в будущем новым малоземельем<sup>140</sup>. Переселение на азиатские окраины повлекло за собой усложнение взгляда на народ, когда возникли сложно вписывающиеся в прежнюю социальную парадигму противоречия между переселенцами и старожилами, крестьянами и инородцами. Публикации о переселенцах оказались наполнены не только «болью» за скитание переселенцев, но и «грустью» за подмеченные черты в их характере: «алчное желание захватить лучший участок, боязнь остановиться на окончательном выборе, кипучая поспешность при бросании с одного не понравившегося места на другое»<sup>141</sup> и т.п. Восхищение «отвагой» первопоселенцев и их колонизационной энергией сменялось негативными оценками самовольства, склонности к бродяжничеству, хищничества в отношении природных ресурсов и беспредела в эксплуатации туземного населения. А.А. Кауфман, который считался одним из наиболее авторитетных экспертов в переселенческом деле, публично критиковал «мужиколобивых авторов» с их аргументацией, почерпнутой из «ультра-народнического словаря», и указывал, что переселенческое хозяйство носит по преимуществу «захватно-хищнический характер»<sup>142</sup>.

Регресс сельскохозяйственных культур и агрономических приемов, снижение производительности земли, хронические голодовки, утрата традиций общинной жизни, возвратная миграция становились обычными явлениями, сопровождавшими крестьянское переселение и водворение на новых местах. Те, кто описывал эти процессы в рамках социально-экономического дискурса, причины негативных проявлений предпочитали видеть исключительно в материально-финансовой сфере: недостатке денежных средств на домообзаводство, неудобных землях, необеспеченности новоселов рабочими руками, скотом и инвентарем. Дополнительным фактором, ослабляющим даже «полносильных» переселенцев, был долгий и трудный путь, когда они доходили до места своего водворения «изнуренными, отвыкшими от труда кочевниками, дети которых усваивали привычку к бродяжничеству, а большинство из них вымирало дорогой»<sup>143</sup>.

Существовало также опасение, что, если крестьянин в России лишился земли, утратил связь с крестьянским хозяйством, этот «деревенский пролетарий» вряд ли сможет быстро устроиться и на окраинах. Местные чиновники отметили также связь между основным видом хозяйственной деятельности переселенцев и их морально-нравственными качествами, которые подверглись деформации еще на родине. Прибывшие на окраины переселенцы демонстрировали «поразительное отсутствие общности интересов между членами одного общества. Всякий думает лишь о том, как бы извлечь личную выгоду, хотя бы в ущерб общему делу ... отсюда постоянные просьбы и тяжбы ...». Кроме того, отмечалось, что скитания по заработкам приучали крестьян к пьянству, бесчинствам и дракам, которые невозможно уже было преодолеть особенно в условиях переселения<sup>144</sup>. Денежные ссуды нередко пропивались всем крестьянским обществом, земли, от которых отказались крестьяне, как от неудобных, возделывались «нежелательными элементами». Из-за слабой самоорганизации крестьяне-переселенцы на начальных этапах не смогли создать общинные институты управления и суда, а главное — взаимопомощи. Разобщенность и инородческое окружение также не благоприятствовало сплоченности крестьянского мира<sup>145</sup>.

У признания особых колонизационных способностей русского крестьянина имелась и оборотная отрицательная сторона — бродяжничество, «страсть к перемене мест», неугасающие мечтания о мифическом Беловодье. Если европеец «колонизирует» Америку, Африку, то русский крестьянин «переселяется» куда-то в «Белую Арапию», на вольные земли. В этом уже угадывался глубокий смысл: «западно-европейский человек оставляет на родине все рутинное, устаревшее, негодное и берет с собой зародыши новой жизни; он является в новую страну с богатейшим запасом умственных и духовных сил, с денежным капиталом и в несколько лет изменяет физиономию страны; он предварительно делает на своей родине все, чтобы сколько-нибудь сносно жить в ней; и покида-

ет ее только тогда, когда его усилия в этом направлении оказываются безрезультатными»<sup>146</sup>. Переселенец, вопреки планам государства, не стремился к прочной оседлости и поэтому о земле не заботился, при истощении надела он арендовал другой или уходил на другой переселенческий участок. «Пройдет несколько лет, земля выпашется, другой земли киргизы не дают, — и опять "тесно", опять начиная сначала, опять кончай тем же, опять бреди снимать сливки "под новый куст" или "на китайский клин"...<sup>147</sup>». Достаточно быстро крестьянин признавал свой надел выпашанным, «свое существование мало обеспеченным», арендуемые земли не спасали от недородов и голодовок. Этот тип степного колонизатора получил в литературе наименование «кустанаец»<sup>148</sup>. «Кустанаец» в высшей степени хищник, для «извлечения из почвы последних соков» он использует «улучшенные орудия и машины», для него характерно постоянное стремление идти дальше за целинными землями, нежелание затрачивать более интенсивный труд на обработку земли. Сказочные поверия о существовании в Сибири «небывало богатых краев» и появление народных брошюр, завлекающих крестьян переселяться за Урал, провоцировали желание искать лучшей земли. В результате очередной колониционный рывок завершался не созданием «сплошного густого русского населения», но, напротив, появлением в Сибири народной массы, «блуждающей по уездам бесцельно и безрезультатно» в поисках земель «около низации»<sup>149</sup>. «Заветная мечта о лучших новых местах» и «стадное чувство искания лучших мест» увлекали даже крестьян со средствами<sup>150</sup>. Осторожно, не распространяя подобные оценки на всех крестьян, появляются в публицистике описания особого типа «хищника земли», «шатуна», «стяжателя», который ничего не имеет общего с «коренным пахарем». «Забайкальский крестьянин обращается со своими полями так же, как приискатель с золотосносными участками; выработалась данная площадь, он бросает ее и принимается за другую». Об улучшении и сохранении почвы — не думает. Раз пашня «устарела» — он ее бросает и идет на новую землю. Уничтожают леса. «Мало того, они усиливаются оттягать у смежных с ними бурят участки неистощенных земель и помышляют, конечно, в праздных мечтаниях, о том, что им со временем отдадут Монголию»<sup>151</sup>. Схожая ситуация складывалась и в Акмолинской области. Хищническое истребление леса в степи крестьянами нередко сопровождалась заявлениями «на наш век хватит»<sup>152</sup>. Кокчетавский уезд, представлявший собой, по словам самих же крестьян, «положительно земной рай», казался скоро уже не столько привлекательным — леса безжалостно вырубались, целина быстро распаивалась. Русское население уходило дальше в Семиречье, и, получив там большие наделы, сдавало их в аренду дунганам и таранчам. Нашел переселенец на Алтае «настоящее земледельческое эльдорадо» и с «жадностью» набросился на необъятные пространства превосходной земли, «как крот в землю зарылся». «Любит расеец землю: умрет на пашне!» — говорили про него не



то с осуждением, не то с удивлением, старожилы<sup>153</sup>. «Тенденция хищения, жажда обогащения», «стяжательства», нерасчетливая эксплуатация природных богатств объявлялись уже «всероссийским историческим грехом», «который красной яркой полосой проходит через всю нашу историю и есть продукт нашего страшного невежества, безграмотности, темноты и отсутствия каких-либо признаков культуры»<sup>154</sup>.

Усвоив свою высокую миссию на окраинах, русский крестьянин стремился не только компенсировать свои расходы на переезд и водворение на новых местах, но рассчитывал и в дальнейшем получать от государства постоянное вознаграждение за свою роль государственного колонизатора. Такие настроения могли порождать иждивенческие настроения и стать дополнительной причиной экономической и культурной пассивности переселенцев, которые «отвыкали от всяких общественных обязательств, учреждения новых школ, больниц, запасных магазинов, устройства дорог, содержания общественного управления, постройки церквей, призрения сирот и убогих, даже наем на подводу священнику для совершения требы — они считали обязанностью правительства»<sup>155</sup>. Надежда на поддержку государства превращала переселенца в иждивенца, «государственного пестуна», у которого исчезало рвение к труду и притуплялось чувство самостоятельности. «Разнообразные ссуды и льготные проезды, даровые кормежки и прочие блага привлекали не только безземельных, ищущих работу, но и лентяев, развращенных до мозга костей и пропойц, бывших дома дармоедами, а для окраин составляющих тягчайшую обузу»<sup>156</sup>. Осознание низкой эффективности крестьянской колонизации, тем не менее, не означало отказа от ее использования. В качестве выхода из ситуации предлагалось направить действия государства не только на расширение переселенческого хозяйства, но, и на улучшение его качества, т.е. на поиск более самостоятельного и состоятельного колонизатора, организацию более эффективной целевой помощи со стороны государства и общества. А.А. Исаев уже рекомендовал ввести нравственный ценз для переселенцев. Он, в частности, отмечал: «Было бы правильно не допускать к переселению пьяниц, крестьян, вовсе нерадивых и запустивших свое хозяйство. Этим людям особенно тяжело устроиться на новом месте, требующем большого напряжения и телесных и нравственных сил, они легче всего становятся переселенцами-неудачниками»<sup>157</sup>. Такого рода разочарования в колонизационном потенциале русского крестьянина становились частыми, хотя все еще заслонялись чувствами сострадания и критикой бездействия властей, что составляло основное содержание переселенческой публицистики.

Массовое движение крестьян на окраины заставило власти обратить больше внимания на положение там самих русских, оценивая не только их экономическое, но и религиозно-нравственное состояние. Нарастала тревога, что русский человек, оторвавшись

от привычной социокультурной среды, может легко поддаться чужому влиянию и утратит связь с коренной Россией. Отчеты губернаторов, поступающие в центр с окраин, были наполнены жалобами на низкий уровень умственного и нравственного развития крестьянского населения, нехватку сельских священников, их жалкое материальное положение и падение авторитета у народа, недостаток церквей и школ, и, напротив, избыток кабаков. В специальных переселенческих изданиях, периодической печати, отчетах и записках чиновников все чаще стали раздаваться тревожные сомнения относительно культурного и хозяйственного потенциала русского крестьянина: не потерял ли он свою колонизирующую силу, не иссяк ли «народный гений созидательного творчества общинной жизни»? Характерно, что пессимистические тона появляются именно в тот момент, когда государство признает законность переселений, их благотворность для окраин и центра. Русские культурные ценности представляли важность не только потому, что они были русскими, а потому, что считались «лучшими», «прогрессивными», при помощи которых можно будет преодолеть «отсталость» азиатских народов. Это было не только полем борьбы «высшей» культуры с «низшей», но еще и пространством, где рождались новые культуры и новые идентичности. Поэтому сохранение русской идентичности (веры, языка и, в целом, культуры) в таких условиях приобретало особую значимость.

Появление на азиатских окраинах переселенцев, вытолкнутых из Европейской России преимущественно социально-экономическими причинами, никак не могло работать на создание их положительного имиджа. Фактически признавался не просто низкий уровень хозяйственной культуры новоселов, но даже более низкий по сравнению с инородцами. Не был готов переселенец и к быстрой адаптации своих сельскохозяйственных приемов к новым природно-климатическим условиям, не хватало у него и духа предприимчивости. Естественно, что переселенец искал тех условий, к которым он привык на родине, и, если их не находил, то мог, при отсутствии необходимых знаний, решимости, выдержки и материальных средств, быстро терять терпение и уверенность в своих силах, бросал землю, с которой его мало что связывало. Отрыв же от земледельческих занятий и превращение крестьян в горожан не приветствовалось властями и входило в противоречие с идеологическими установками на позитивный потенциал именно крестьянина-земледельца. Впрочем, в Туркестане местная администрация могла скептически относиться к русской земледельческой колонизации густонаселенных областей и горячо поддерживала численное увеличение русского населения в городах. Однако промышленное освоение азиатских окраин станет главным содержанием советской миграционной политики и будет включено уже в большевистскую доктрину пролетарской диктатуры.

«Культурное бессилие» крестьян, которое приписывали крестьянам многие из тех, кто был связан с переселенческим делом,

порождалось и политические последствия, которые не могли не волновать имперские власти. Впервые это было осознано на примере Приамурского края, где русские переселенцы долгое время не могли приспособиться к природно-климатическим условиям. Китайцы и корейцы, демонстрировавшие иные приемы агрикультуры, оказались более эффективными земледельцами. Ситуация выглядела тупиковой: «Самим обрабатывать землю по-русски — плохо, по-китайски — невыгодно, и сдача земли в аренду остается, таким образом, наилучшим исходом», — вынужден был заключить А.А. Кауфман. Однако это сельскохозяйственное поражение представляло опасность, главным образом, тем, что вместо того чтобы препятствовать китайской и корейской миграции на российский Дальний Восток, сельскохозяйственная аренда, напротив, становилась мощным для нее стимулом. Русские старожилы и переселенцы бросали сельскохозяйственные занятия и предпочитали сдавать землю в аренду, а самим жить за счет эксплуатации дешевого труда китайских и корейских мигрантов, становясь своего рода «маленькими помещиками».

Схожей, хотя и типологически иной, выглядела ситуация в Туркестане, где русские крестьяне оказались не готовы к использованию ирригаций, а также к переходу от хлебопашества к хлопководству<sup>158</sup>. Переселенцу здесь приходилось учиться работать кетменем, привыкнуть к иному способу обработки земли, использовать орошение. В таких условиях русский крестьянин не мог продемонстрировать своего хозяйственного превосходства и должен был многому учиться у туземцев, и даже вынужден наниматься к ним в работники. Вместе с тем, отношения русских крестьян к местному населению в Туркестане оставляли желать лучшего. Многие наблюдатели отмечали, что русские крестьяне смотрят на туземцев пренебрежительно, часто обижают, обманывают казахов и сартов при аренде у них земли. Туркестанские власти даже стремились оградить (или свести к минимуму) контакты русских с туземным населением. Но одновременно с этим продолжали утверждать, что только «хорошо и независимо устроившись, переселенцы являются тем элементом, появление которого вполне желательно как в целях поднятия уровня местного населения, так и для закрепления русской гражданственности»<sup>159</sup>.

Местная администрация, под натиском переселенцев вынуждена была признавать самовольные захваты и попытаться как-то упорядочить их земельные права. Но переселенческий поток уже нельзя было сдерживать — всё новые волны переселенцев накатывались не только на инородцев, но и на русских старожилы, которые теперь также оказались обиженной стороной. Особенно много нареканий вызывали самовольные захваты крестьянами лесных и луговых угодий, а также пашенной земли, что имело в разных районах Азиатской России примерно схожий сценарий. В начале в инородческом селении появлялось несколько семей русских крестьян, затем русская колония разрасталась за счет приселения

вновь прибывающих переселенцев. Когда число приселившихся начинало превышать число туземцев, русские крестьяне делались уже полными хозяевами всех угодий. Подобным образом, утверждал знаток сибирских северных народов С.К. Патканов, образовалось весьма значительное число русских поселений по Нижнему Иртышу и Оби<sup>160</sup>. Схожая ситуация наблюдалась и в Степном крае, где переселенцы сначала арендовали землю у казахов. Когда на этих землях вырастала русская деревня, крестьяне меняли тактику. Они переставали платить за аренду, заводили споры с казаками и засыпали просьбами и жалобами уездное начальство об испытываемых ими притеснениях и своей бедности. После долгих мытарств, подкупа чиновников и казахских волостных управителей, крестьяне достигали своей цели. Администрация, как правило, отговаривалась тем, что казахи сами виноваты, разрешив арендаторам не только обработку земли, но и постройку домов, и что теперь выселение переселенцев будет равносильно их разорению. Это порождало у крестьян чувство безнаказанности и уверенности, что власть обязана быть на их стороне. Нередкими становились случаи захвата не только земли, но и скота, что приводило к вытеснению казахов на новые места или даже за пределы Российской империи. «Обмануть киргиза, подстрелить его — самое обыкновенное для переселенца дело», — писал будущий известный историк Е. Шмурло<sup>161</sup>. Русские крестьяне, — признавал Г.К. Гинс, — часто относятся к казахам с высокомерием и даже жестокостью. «Это презрение доходит иногда до полного отрицания в киргизах человеческой личности. Бывают на этой почве случаи бесчеловечной и бессмысленной жестокости: крестьяне безжалостно убивают киргизов и не чувствуют угрызений совести». Гинс делал из такого рода фактов общий вывод, хоть как-то спасающий народническую мифологию: «Русские мужики заражаясь духом завоевателей, нередко теряют здесь свое *исконное добродушие*, а с ним и ту детскую добродушную улыбку, которую так любил в них Л.Н. Толстой, не находивший этой улыбки у городского пролетария. Они заражаются столь распространенной на окраинах с полудиким населением жадной наживы, привыкают к эксплуатации, отвыкают от гостеприимства, — они часто *делаются неузнаваемы*»<sup>162</sup>. Бурятское население даже сторонилось русских, писал, подчеркивая остроту проблемы, прослуживший несколько лет в Забайкалье А.И. Термен: «лучше подальше от этих культуртрегеров, сохраним свой старый строй, примем буддизм с его нравственными предписаниями, мы, по крайней мере, не вымерем от водки и болезней». Для многих обрусение означало, по его словам, «пасть и опошлиться»<sup>163</sup>. Принятие христианства инородцами мало меняло ситуацию, а принявшие крещение, не только не повышали свой статус в глазах крестьян, но получали обидные прозвища<sup>164</sup> и выглядели «уродливыми» русскими как в глазах соотечественников, так и самих русских<sup>165</sup>.

Переселенцы, пользуясь поддержкой церкви, обвиняли старообрядцев в расколе, религиозном «фанатизме, и вынуждали ухо-

доть на новые труднодоступные места. Впрочем, иногда сами власти использовали такую ситуацию и намеренно подсеяли («подсыпали») к ним православных<sup>166</sup>. Устойчивая «русскость» старообрядцев не могла не замечаться местными властями, которые, хотя и проявляли ббльшую, нежели в центре страны, религиозную терпимость, активно использовали старообрядцев в колонизационном движении. Приамурский генерал-губернатор П.Ф. Унтербергер писал в 1912 г.: «Староверы зарекомендовали себя здесь хорошими сельскими хозяевами и являются особо желательным элементом при заселении отдаленных и глухих местностей, прокладывая тем пути для следующих за ними других переселенцев»<sup>167</sup>. И хотя правительство в своих заботах о подготовке базы для обороны и будущего имперского расширения, и сектанты в своем стремлении найти свободу вероисповедания или лучшие условия для жизни шли разными путями и сторонились друг друга, но в результатах их устремленности на восток проступало многое, что их сближало. Принцип «русскости» на далеких окраинах стоял выше стремления добиться церковного единства, отражая важные тенденции в формировании общерусской национальной идентичности.

С другой стороны, «культурная слабость» переселенцев внушала опасение, что, попав под влияние иностранцев и инородцев, русские люди утратят привычные национальные черты, отдалятся от своей родины, потеряют чувства верноподданности и даже подвергнутся ассимиляции. Невысокий уровень цивилизованности самих русских переселенцев и старожилов, хотя и уменьшал культурную дистанцию между ними и местными народами, воспринимался как фактор чреватый опасностью утраты самой «русскости». Таким образом, переселение русских крестьян на окраины империи и новое иноязычное и иноверческое окружение становилось серьезной проверкой самих русских на их «русскость» и приверженность к православию. Это не могло не заботить власти и христианских миссионеров. Угрозы исходили не только от раскольников или представителей других христианских конфессий, но и иноверческих вероисповеданий (включая шаманизм), а социокультурная адаптация таила угрозу утраты «русскости». Отмечались случаи, когда сибиряки усваивают религиозные предрассудки инородцев и даже забывают русский язык. Все громче раздавались голоса об угрозе самому русскому народу, который подвергается «отунгизиванию», «объякучиванию», «отатариванию», «обурачиванию», «окиргизиванию» и т.д.<sup>168</sup>

Особенно много способствовали возбуждению этой фобии областники, которые в поисках этнографической и антропологической специфики сибиряков обратили пристальное внимание на отклонения в русском этнокультурном типе населения. Особо много сделали в распространении подобного взгляда родоначальники сибирского областничества, прежде всего наиболее влиятельные из них А.П. Щапов, Н.М. Ядринцев<sup>169</sup> и Г.Н. Потанин. Яд-

ринцев даже подготовил специальную исследовательскую программу, призывая тщательно собирать сведения и анализировать факторы воздействия инородцев на русских, особенно отмечая случаи физического и умственного понижения уровня последних. Его соратник по областническому движению Г.Н. Потанин пришел к выводу: «Обзор приведенных нами фактов заставляет сомневаться в существовании у русского народа ассимиляционной способности. Мы можем говорить только об ассимиляционной деятельности русского народа, интенсивность которой зависит от целого ряда условий, причем главным регулятором является культурное превосходство русских над инородцами, так как, где этого условия нет, русский элемент сам поддается инородческому влиянию и утрачивает свою национальность»<sup>170</sup>. Много инородческих заимствований фиксировалось областниками в быту и языке сибиряка, что стало почти хрестоматийным, войдя в учебные издания и популярные книги<sup>171</sup>.

Путешественники и ученые, как люди пишущие, спешили поделиться своими открытиями утраты «русскости» на азиатских окраинах империи с читателями, придавая этому социокультурный и даже политический смысл. Став предметом общественного внимания, эти наблюдения этнографов превратились в политическую вопрос о культуртрегерских способностях русских вообще. «Русские, — писала в этом духе газета «Порядок» (26 окт. 1881 г.), — прибывшие сюда для культурной работы, вместо того, чтобы вывести население из дикости, увлеченные духом завоевания и хищничества, сами сделались дикарями ...» Русская культура здесь у инородцев, да и у самих русских «иссчухла, извратилась, замерла, погибла», а сами русские, «благодаря своему нравственному падению, начали занимать у дикарей их фетиша». Об объёкучивании русских упоминал писатель И.А. Гончаров<sup>172</sup>, об этом же твердили в своих записках многие местные чиновники, писали политические ссильные, превратившиеся в этнографов и влиятельных научных экспертов. Изучая русские старожильческие поселки Якутской области, И.И. Майнов заметил, что все население крестьянского общества и даже его выборные власти предпочитали говорить по-якутски<sup>173</sup>. Попадая в окружение трезвого, трудолюбивого и зажиточного туземного мусульманского или сектантского населения, переселенец не только не мог повлиять на него, но и не старался сохранить свои прежние культурные ценности. Оказавшись в инородческом окружении, уже второе поколение колонизаторов Сибири и Средней Азии перенимало образ жизни, одежду, пищу и язык туземцев. «Крестьяне, живя среди якут, бурят, киргиз иногда не ассимилируют себе, а сами ними ассимилируются»<sup>174</sup>. Приморский военный губернатор П.В. Казакевич уже указывал, что такое воздействие оказывают не только якуты, но и камчадалы, среди которых всего за десять лет русские переселенцы «усвоили себе все их привычки и образ жизни, а потомки наших первых поселенцев в Гижиге, Охотске, Удске совершенно

почти даже утратили тип русский»<sup>175</sup>. Схожее явление наблюдалось и в Забайкалье, где сибиряки, смешиваясь с бурятами, нередко утрачивали даже свой первоначальный антропологический тип. Пугало и то, что «обынородничанье» русских порождало новую конфессиональную ситуацию, когда «обрядовая набожность русского населения заменилась чисто языческим суеверием, частью заимствованным от инородцев, частью навеянному на них новою неизвестною до тех пор жизнью»<sup>176</sup>. И хотя многие из тех, кто хорошо знал истинное положение дел на азиатских окраинах, подчеркивали маргинальность и аномальность такого воздействия, свойственного только небольшому числу русских, затерянных в северных и северо-восточных районах Сибири, эта «химерическая этнография»<sup>177</sup> не только привлекла общественное внимание, но оказалась востребована в правительственных кругах.

«Культурное бессилие» русских крестьян провоцировало поиск врагов, выявление конфессиональных и культурных конкурентов внутри империи, которые могли иметь поддержку и за пределами России. Националистический пафос борьбы с иностранным засильем в Азиатской России вылился в фобию немецкого землевладения, которое, якобы, угрожает русскому делу на окраинах. Опасными конкурентами «обрусению» в казахской степи и Туркестане объявлялись уже татары и сарты. Мусульманам не казахского происхождения было запрещено приобретать земли в степи. Нашлось место и угрозе со стороны евреев, в экономическую кабалу к которым могли попасть не только «наивные» туземцы, но и русские крестьяне<sup>178</sup>.

Прибывающие из Европейской России через два или три поколения «осибирячивались», усваивали те черты, которые казались многим наблюдателям отличными от истинно русских. Подобно англичанину, который превратился в янки, «русский преобразается в сибиряка»<sup>179</sup>, имеющего даже свой особый антропологический тип и яркие этнографические особенности<sup>180</sup>. Современники отмечали, что сибиряки держали себя особняком и частенько говорили: «Он из России»<sup>181</sup>. П.А. Кропоткин описал в дневнике в 1862 г. свои впечатления о характере сибиряка, сознающем «свое превосходство над русским крестьянином». Комментируя это обстоятельство, он пояснял, что о России и о «рассейских» сибиряки отзываются с презрением, а само слово «рассейский» считается даже несколько обидным»<sup>182</sup>. Приехавшему в начале 70-х годов XIX в. на службу в Сибирь П.П. Суворову также пришлось столкнуться с подобным явлением. «Это слово "российские" ... имеет глубокий, даже политический смысл. В нем заключается представление о России как о чем-то отдаленном, не имеющем родственного, близкого соотношения ее к стране, завоеванной истым русским. В Иркутской губернии, — писал он, — мне даже приходилось слышать слово "метрополия" вместо Россия»<sup>183</sup>. Он заметил в сибиряках даже некоторую ненависть к приезжим, особенно чиновникам, которых именовали «навозными». Еще более резкие ха-



рактические характеристики содержатся в «Записках о Сибири» политического ссыльного И.Г. Прыжова, который писал в 1882 г. в «Вестнике Европы» о том, русский народ совершенно одичал в Сибири, сибирское население «слишком часто, если не вообще, — тупое и озлобленное», ему доставляет удовольствие «сожрать заезжего человека или, как здесь говорится, "русского"»<sup>184</sup>. Ссылный революционер-народник С.Я. Елпатьевский был поражен увиденным в Сибири: «Среди разнообразных элементов, населяющих сибирскую деревню, нет только одного — русского. ... "Русского" не видно и неслышно, России не чувствуется в Сибири»<sup>185</sup>. «Идеал сытого довольства» сибирского крестьянина уже не радовал «интеллигента», как писал один из авторитетных знатоков крестьянской жизни Н.М. Астырев. Уж слишком он был не похож на его собственный идеал русского крестьянина, воспетый и выстраданный великой русской литературой и увлекший на народническое служение многих интеллигентных русских людей. Из-под пера Астырева (со ссылкой на исследования этнографов и собственные наблюдения, а также претензией отобразить наиболее типичные черты) предстает образ сибиряка как человека, хотя и добившегося известного материального благосостояния, но ставшего «сухим материалистом», забывшим свою историю, утратившего многие прежние нравственные качества и даже равнодушного к религии. Сибиряк привык уважать силу и власть денег, стал человеком самостоятельным и самонадеянным, прагматичным, как американец. Он не музыкален и не поэтичен, равнодушен к школе, хотя более грамотен, чем его собрат в европейской части России. Но эта грамотность не расширяет его «умственные горизонты», а служит лишь утилитарным целям. Уголовные ссылки оказали на сибиряка тлетворное воздействие, понизили его нравственный уровень. Вместе с тем, опустившийся ссылный или приехавший поправить за счет службы в Сибири свои дела чиновник, и даже интеллигент, не чуждаются продавать «закон», погрязли в пьянстве и разврате. Для сибирского старожила такие представители оставленной его предками России становились очередным свидетельством и напоминанием о том, что не все там еще хорошо. Главное же заключалось в разочаровании, что сибиряк утратил те симпатичные черты пусть бедного, но потенциально духовно богатого русского крестьянина, которого так жалели и превозносили многие народнически настроенные интеллигенты, независимо оттого находились ли они во власти, или были в оппозиции к ней. «У него нет представлений о мужицком кресте, о крестьянской доле, какие имеются у его отдаленных родичей, оставшихся тянуть лямку серяка-мужика в Европейской России...» За крестьянской общиной в Сибири не сохранилось традиционного названия «мир», а ее предпочитают здесь именовать «общество», что лишает его «той тени идеализации, которая еще может быть наблюдаема в России» и больше походит административному термину «сельское общество»<sup>186</sup>. А.А. Кауфман также отмечал, что амурские крестьяне вы-

глядели настоящими американцами, не похожими на русского мужика<sup>187</sup>. Сибирские старожилы постарались нажиться на нуждах переселенцев, эксплуатируя и нередко откровенно издеваясь над «простоватым» российским крестьянином. «Россейские» казались сибиряку, уже утратившему многое, ментально присущее русскому крестьянину, странными в их жажде земли, заботой о душе и упованиях на Бога<sup>188</sup>.

Положение осложнялось появлением сибирской интеллигенции, которая под влиянием федералистских и национальных теорий, пыталась выстроить концепцию колониальности Сибири, выдвигая экономические, культурные и даже политические претензии имперскому центру. Формирование у сибирского старожильческого населения чувства территориальной обособленности, осознание своей непохожести и чувств региональной социально-экономической ущемленности создавало предпосылки выстраивания иной, конкурирующей с «большой русской нацией», сибирской идентичности, а сибирские областники надеялись мобилизовать ее в политических целях в «торге» между центром и Сибирью<sup>189</sup>.

С началом массового переселения за Урал правительство начинает сознавать политическую опасность негативных настроений в сибирской старожильческой среде по отношению к переселенческой политике. Главноуправляющий землеустройством и земледелием кн. Б.А. Васильчиков открыто заявил об этом в Государственной думе: «Лозунг "Сибирь для сибиряков" широко проник во все слои и группы местного населения. Отсюда вытекает и совершенно определено выраженная недоброжелательность к переселению...»<sup>190</sup> Сибирские богатеи, недовольные новыми порядками, вызванными притоком переселенцев, ворчали: «Доведут, как в России: ни хлеба, ни денег не станет»<sup>191</sup>. Существовало опасение, что если ввести в Сибири земские учреждения, то главную роль в них будут играть старожилы и казаки, которые, несомненно, станут препятствовать устройству новоселов и обеспечению их земель. «Если земство в чем-нибудь себя проявит, — утверждал А.А. Кауфман, — то только в одном: в усиленных стараниях закрыть край для дальнейшего вселения»<sup>192</sup>.

В специальной записке о состоянии церковного дела в Сибири, подготовленной канцелярией Комитета министров, указывалось на необходимость объединения духовной жизни сибирской окраины и центральных губерний «путем укрепления в этом крае православия, русской народности и гражданственности»<sup>193</sup>. Постановка такой важной задачи, по мнению правительства, вызвана сибирскими особенностями: религиозным индифферентизмом сибиряков-старожилов и разнородным этноконфессиональным составом населения. Чтобы остановить процесс отчуждения переселенцев от «старой» России и восстановить в «новой» России знакомые и понятные властям черты русских людей, необходимо было заняться целенаправленной культуртрегерской работой в отношении них самих. Признавая в целом более высокий, чем у россий-

ского крестьянина, уровень умственного развития сибиряка-старожила, А.Н. Куломзин обращал внимание правительства на то, что отсутствие «руководства со стороны церкви и школы и влияние ссыльных придало развитию сибиряка не предвещающий ничего хорошего отпечаток». По его наблюдениям, сибиряку присущи огрубелость нравов, преобладание «индивидуальных интересов над общественными», а также «полное отсутствие каких-либо исторических преданий, традиций, верований и симпатий». Сибиряк, утверждал А.Н. Куломзин, забыл свою историю, забыл родину и, живя несколько веков замкнутою зауральскою жизнью, перестал считать себя российским человеком. Однако у него уже пробудилась любовь к своей новой родине, и сибиряк с особой ревностью относился к тому, что в России пренебрежительно отзываются о Сибири. Это было отражением не только процесса региональной идентификации, но и своего рода сибирского шовинизма, который проявлялся в пренебрежительном отношении к переселенцам, которых нередко именовали «лапотниками», «неумытыми» и «необразованными». Куломзин писал в мемуарах, что перед его внутренним взором «каким-то кошмаром» стояла мысль о том, что «в более или менее отдаленном будущем, вся страна по ту сторону Енисея неизбежно образует особое отдельное от России государство»<sup>194</sup>. Он настаивал на срочных мерах по сближению Сибири с Россией, и призывал не жалеть денег на школы и православные церкви, чтобы не дать сибиряку «дичать»<sup>195</sup>. После поездки в Сибирь в 1910 г. П.А. Столыпин с осторожным оптимизмом констатировал рост православных церквей и школ в крае, заключив, что «опасность нравственного одичания переселенцев будет менее грозной». Необходимо, подчеркивал он, теснее связать местное население общерусскими интересами, чтобы оно перестало быть «механической смесью чуждых друг другу выходцев из Перми, Полтавы, Могилева»<sup>196</sup>.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Даже если признать, что масштабы «культурного бессилия» и утраты «русскости» представлялись преувеличенными, приходится учитывать, что они серьезно беспокоили власти Российской империи и пробивали серьезную брешь в их идеологических схемах. Не могло не внушать опасения и то, что русский человек, оторвавшись от привычной социокультурной среды, может поддаться чуждому влиянию, утратит не только связь с коренной Россией, но и саму «русскость». Однако кросс-культурная ассимиляция в Азиатской России не достигла политически опасной стадии, и, несмотря на интенсивные контакты с другими народами, русские продолжали и здесь противопоставлять «себя» и «других». При этом в их настроениях могли возобладать тенденции внутренней русской национальной консолидации, что усиливалось чувством культурного превосходства, хотя в реальности оно не всегда было подкреплено культурными или экономическими преимуществами.

Несомненная тенденциозность в подборе и интерпретации фактов была присуща как апологетам русской колонизации, так и их оппонентам. И хотя они сходились в признании политической значимости народного движения на азиатские окраины, одни предпочитали акцентировать внимание на ее «русскости» и встраивать крестьянское движение в имперские геополитические проекты, другие предпочитали игнорировать их, замещая имперский и национальный нарратив социальным. Казалось бы, рост численности русского населения в азиатской части империи должен был демонстрировать успех курса на «слияние» окраин с центром страны, однако крестьянское переселение создавало для властей новые проблемы, обостряя социальные, национальные и конфессиональные противоречия. Во многом, именно аграрные миграции крестьян в ряду референтных правительственных вопросов породили «киргизский вопрос», поставили бурят и якутов в разряд «проблемных народов». Империя так и не нашла баланс интересов между желанием снизить остроту аграрного кризиса в центре страны, заселить азиатские окраины и сохранить лояльность населения.

<sup>1</sup> Подробнее об этом применительно к Сибири см. наш раздел в коллективной монографии «Сибирь в составе Российской империи» (М., 2007. Гл. 2: Колонизация Сибири XVIII – начала XX в.: империи- и нациостроительство на восточной окраине Российской империи).

<sup>2</sup> Горизонтов Л.Е. «Большая русская нация» в имперской и региональной стратегии самодержавия // Пространство власти: исторический опыт России и вызовы современности. М., 2001. С. 130.

<sup>3</sup> Определение «русские» на азиатских окраинах было дискурсивным и могло включать не только великороссов, но также украинцев и белорусов, не строго ограничиваясь принадлежностью к православию, а нередко могло широко трактоваться даже как «русское население».

<sup>4</sup> Ключевский В.О. Соч. М., 1956. Т. I. С. 31.

<sup>5</sup> О сложности в трактовке понятий «обрусение» и «русификация» см.: Миллер А.И. Русификация: классифицировать и понять // *Ab Imperio*. 2002. № 2. С. 133 – 148.

<sup>6</sup> *Sunderland W.* The «Colonization Question»: Visions of Colonization in Late Imperial Russia // *Janrbücher für Geschichte Osteuropas*. 2000. № 48. P. 210 – 212.

<sup>7</sup> Брейфогл Н. Контакт как созидание. Русские сектанты и жители Закавказья в XIX в. // *Диаспоры*. М., 2002. № 4. С. 185, 188.

<sup>8</sup> Гинс Г. Переселение и колонизация. Б.м., б.г. С. 28.

<sup>9</sup> Болховитинов Л.М. Колонизаторы Дальнего Востока // *Великая Россия: сб. ст. по военному движению и общественным вопросам*. М., 1910. Кн. 1. С. 222.

<sup>10</sup> Уманец Ф.М. Колонизация свободных земель России. СПб., 1884. С. 33.

<sup>11</sup> Любавский М.К. Обзор истории русской колонизации с древнейших времен и до XX века. М., 1996. С. 474.

<sup>12</sup> Ерофеева И. Славянское население Восточного Казахстана в XVIII – XX вв.: миграционное движение, стадии социокультурной эволюции, проблемы ремиграции // *Этнический национализм и государственное строительство*. М., 2001. С. 333.

<sup>13</sup> Кризис самодержавия в России. 1895 – 1917. Л., 1984. С. 47.

<sup>14</sup> Шмурло Е. Русские поселения за южным Алтайским хребтом на китайской границе // *Императорского русского географического общества*. (Далее: ЗСО ИРГО). Омск, 1898. Кн. 25. С. 62. С.В. Лурье образно описывает этот процесс «убе-

гания» крестьянина от государства, как игру в «кошки-мышки». См.: *Лурье С.В.* Историческая этнология. М., 1997. С. 161 – 169.

<sup>15</sup> См. подробнее: *Погригина Н.Н.* Другая Россия: образ Сибири в русской журнальной прессе второй половины XIX – начала XX века. Новосибирск, 2006.

<sup>16</sup> *Weiss C.* «Nash», Appropriating Siberia for the Russian Empire // *Sibirica*. Spring 2006. Vol. 5, N 1. P. 141 – 155.

<sup>17</sup> *Sunderland W.* Peasant Pioneering: Russian Settlers Describe Colonization and the Eastern Frontier, 1880s-1910 // *Journal of Social History*. 2001. Vol. 24, N 3. P. 895 – 922.

<sup>18</sup> *Максимов С.В.* На Востоке. Ч. I // С.В. Максимова. Собр. соч. СПб., б.г. Т. 11. С. 211. Показательно, что в слове «окрестят» заключалось не только стремление дать имя, но и сделать христианским.

<sup>19</sup> Подробнее см.: *Курилов В.Н.* Русский субэтнос Западной Сибири в середине XIX в.: расселение и топонимия: дисс. ... канд. ист. наук. Новосибирск, 2002.

<sup>20</sup> Управляющий делами Комитета Сибирской железной дороги А.Н. Куломзин во время поездки 1896 г. по Сибири давал рекомендации местным чиновникам: «Нужно, когда встречается к тому случай, наводить переселенцев на мысль давать поселкам наименования в честь членов императорской фамилии, дабы всеми доступными средствами способствовать скреплению этой окраины с родною колыбелью». См.: *Куломзин А.Н.* Пережитое // Российский государственный исторический архив. (Далее: РГИА).Ф. 1642. Оп. 1. Д. 202. Л. 19.

<sup>21</sup> *Вибе П.П.* Немецкие и меннонитские колонии Западной Сибири в годы Первой мировой войны // *Культура*. 2004. № 6. С. 3 – 5.

<sup>22</sup> *Н.М.* Об упорядочении местной географической номенклатуры // *Туркестанские ведомости*. 1899. 4 февр.; *Станюкович Т.В.* Поселения и жилища русского, украинского и белорусского населения среднеазиатских республик и Казахстана // *Этнография русского населения Сибири и Средней Азии*. М., 1968. С. 228 – 229.

<sup>23</sup> *Словцов П.А.* Историческое освоение Сибири. М., 1836. Кн. 1. С. 36.

<sup>24</sup> См.: *Максимов С.В.* Сибирская святыня // С.В. Максимов. Собр. соч. СПб., 1910. Т. 16. С. 115 – 275.

<sup>25</sup> О концепте «большой русской нации» см.: *Миллер А.И.* «Украинский вопрос» в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина XIX в.). СПб., 2000. С. 31 – 41; *Горизонтов Л.Е.* «Большая русская нация»... *Ремнев А.В.* «Большая русская нация» и региональная идентичность: исторический опыт Сибири // *Российская Западная Сибирь — Центральная Азия: новая региональная идентичность, экономика и безопасность*. Барнаул, 2003.

<sup>26</sup> *Катков М.Н.* Собрание передовых статей «Московских ведомостей». 1866 год. М., 1897. С. 58.

<sup>27</sup> *Катков М.Н.* Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1878 год. М., 1897. С. 427.

<sup>28</sup> *Вернадский Г.* Против солнца. Распространение русского государства к востоку // *Русская мысль*. 1914. № 1. С. 64.

<sup>29</sup> *Кропоткин П.А.* Записки революционера. М., 1990. С. 173.

<sup>30</sup> *Пржевальский Н.М.* Путешествие в Уссурийском крае. 1867 – 1869. М., 1947. С. 70.

<sup>31</sup> *Миролюбов (Ювачев) И.П.* Восемь лет на Сахалине. СПб., 1901. С. 214.

<sup>32</sup> *Васильев В.П.* Восток и Запад // *Восточное обозрение*. 1882. 1 апр.

<sup>33</sup> *Семенов П.П.* Значение России в колонизационном движении европейских народов // *Известия ИРГО*. 1892. Т. XXVIII, вып. IV. С. 354.

<sup>34</sup> Подробнее см.: *Ремнев А.В.* Азиатская Россия: колонизация и «обрусение» в имперской географии XIX – начала XX века (в печати).

<sup>35</sup> *Яковенко И.Г.* Российское государство: национальные интересы, границы, перспективы. Новосибирск, 1999. С. 103.

<sup>36</sup> *Барсуков И.П.* Иннокентий, митрополит московский и коломенский. По его сочинениям, письмам и рассказам современников. С. 382.

<sup>37</sup> См.: *Чуркин М.К.* Переселения крестьян черноземного центра Европейской России в Западную Сибирь во второй половине XIX — начале XX в.: детерминирующие факторы миграционной мобильности и адаптации. Омск, 2006.

<sup>38</sup> *Трепавлов В.В.* «Белый царь»: образ монарха и представления о подданстве у народов России XV — XVIII вв. М., 2007. С. 123 — 124.

<sup>39</sup> *Куропаткин А.Н.* Итоги войны. Отчет генерал-адъютанта Куропаткина. Варшава, 1906. Т. 4. С. 44.

<sup>40</sup> Записка П.Ф. Унтербергера «Ближайшие задачи в деле закрепления за нами Приамурского края» (24 марта 1908 г., Хабаровск) // Библиотека РГИА. Коллекция печатных записок. № 257. С. 1.

<sup>41</sup> *Быков А.Ю.* Истоки модернизации Казахстана (Проблема седентаризации в российской политике XVIII — начала XX века). Барнаул, 2003. С. 122 — 126.

<sup>42</sup> Киргизы (киргиз-кайсаки) — принятое в Российской империи название казахов.

<sup>43</sup> По проекту положения Киргизской Степной комиссии об управлении киргизскими степями (1868 г.) // Российский Государственный военно-исторический архив. (Далее: РГВИА). Ф. 400. Оп. 1. Д. 120. Л. 60.

<sup>44</sup> РГВИА.Ф. 400. Оп. 1. Д. 498. Л. 39.

<sup>45</sup> *Шкапский О.* Некоторые данные для освещения киргизского вопроса // Русская мысль. 1897. № 7. С. 43.

<sup>46</sup> Проект всеподданнейшего отчета... К.П. Кауфмана. СПб., 1885. С. 186.

<sup>47</sup> Всеподданнейший отчет Степного генерал-губернатора Г.А. Колпаковского за 1887 и 1888 гг. Б.м., б.г.

<sup>48</sup> О радикальных изменениях в этнодемографической географии степных областей в 1896 — 1916 гг. см.: *Demko J.* The Russian Colonization of Kazakhstan, 1896 — 1916. Bloomington, 1969. Chapt. IV: The Effects of Russian In-migration.

<sup>49</sup> О русской колонизации Семиречья и Туркестанского края см.: Россия. Полное географическое описание нашего отечества. СПб, 1913. Т. 19 (Туркестанский край). С. 320 — 333. См. также: *Гинзбург А.И.* Русское население в Туркестане (конец XIX — начало XX в.). М., 1991; *Брусина О.И.* Славяне в Средней Азии. Этнические и социальные процессы. Конец XIX — конец XX века. М., 2001; *Brower D.* Turkestan and the Fate of the Russian Empire. L., N.Y.: Routledge Curzon, 2003. P. 126 — 151.

<sup>50</sup> *Дингельштегт Н.А.* Наша колонизация в Средней Азии // Вестник Европы. 1892. № 11. С. 256. См. подробнее: *Правилова Е.А.* Финансы империи. Деньги и власть в политике России на национальных окраинах России, 1801 — 1917. М., 2006. Особ. гл. 12: «Налоговые реформы в Туркестане и проблема самокупаемости среднеазиатской окраины».

<sup>51</sup> Записка Главноуправляющего землеустройством и земледелием, 1913 г. // Вопросы колонизации. 1914. № 14. С. 152.

<sup>52</sup> *Шкапский О.А.* Указ. соч. С. 47.

<sup>53</sup> *Воицин В.П.* Очерки нового Туркестана. Свет и тени русской колонизации. СПб., 1914. С. 28. Об имперской политике в области ирригации Средней Азии см.: *Joffe M.* Autocracy, Capitalism and Empire: The Politics of Irrigation // Russian Review. 1995. Vol. 54. № 3(7); *Правилова Е.А.* Река империи. Амударья в геополитических и ирригационных проектах второй половины XIX века // Азиатская Россия: люди и структуры империи. Омск, 2005.

<sup>54</sup> Из докл.: *Кривошеина А.В.* Государственной думе «Об отводе русским переселенцам участков орошаемой казенной земли в Голодной степи» и о состоянии работ по орошению там новых земель (10 мая 1913 г.) // Голодная степь. 1867 — 1917: История края в документах. М., 1981. С. 145.

<sup>55</sup> В 1905 г. меру эту отменили, но уже в 1916 г. снова поступают прошения крестьян о выдаче оружия. Подробнее см.: *Галузо П.Г.* Вооружение русских переселенцев в Средней Азии (исторический очерк). Ташкент, 1926; *Он же.* Аграрные отношения на юге Казахстана в 1867 — 1914 гг. Алма-ата, 1965. С. 214, 222.

<sup>56</sup> Восстание 1916 года в Средней Азии и Казахстане: Сб. док. М., 1960. С. 741.

<sup>57</sup> *Кауфман А.А.* Переселения. Мечты и действительности. М., 1906. С. 26.

<sup>58</sup> *Куломзин А.Н.* Пережитое // РГИА.Ф. 1642. Оп. 1. Д. 202. Л. 34.

- <sup>59</sup> Шелегина О.Н. Адаптация русского населения в условиях освоения территории Сибири. М., 2002. Вып. 2. С. 20–21.
- <sup>60</sup> Из всеподданнейшего отчета Генерал-губернатора Восточной Сибири за 1879 г. // Сборник главнейших официальных документов по управлению Восточной Сибирью. Т. II: Переселение русских людей в Приамурский край. Вып. II: Переселения кругосветным путем. Общие основания. Иркутск, 1883. С. 4.
- <sup>61</sup> Воишин В.П. На Сибирском просторе: Картины переселения. СПб., 1912. С. 18.
- <sup>62</sup> РГВИА.Ф. 400. Оп. 1. Д. 596. Л. 5.
- <sup>63</sup> Куропаткин А.Н. Русско-китайский вопрос. СПб., 1913. С. 55–75.
- <sup>64</sup> Бунге Н.Х. Загробные заметки // Река времен (Книга истории и культуры). М., 1995. Кн. 1. С. 211.
- <sup>65</sup> Куломзин А.Н. Пережитое // РГИА.Ф. 1642. Оп. 1. Д. 199. Л. 44.
- <sup>66</sup> Государственная дума. Четвертый созыв: Стенографические отчеты. Сессия I. СПб., 1913. Ч. III. Стб. 1672.
- <sup>67</sup> Государственная дума. Третий созыв. Стенографические отчеты. 1908 г. Сессия первая. СПб., 1908. Ч. II. Стб. 1413.
- <sup>68</sup> Крыжановский С.Е. Заметки русского консерватора // Вопросы истории. 1997. № 4. С. 113.
- <sup>69</sup> Всеподданнейший доклад Степного генерал-губернатора генерала от кавалерии Шмита о состоянии и нуждах колонизационного дела в Степном крае [1909 г.]. Б.м., б.г. С. 10.
- <sup>70</sup> Азиатская Россия. СПб., 1914. Т. 1. С. 199.
- <sup>71</sup> Стариков Ф.М. Откуда взялись казаки (исторический очерк). СПб., 1884. С. 307.
- <sup>72</sup> Абрамовский А.П., Кобзов В.С. Оренбургское казачье войско в трех веках. Челябинск, 1999. С. 140.
- <sup>73</sup> О реформах в казачьих войсках в 60–70-е гг. XIX в. см.: История казачества Азиатской России. Екатеринбург, 1995. Т. 2. Гл. I; Машин М.Д. Оренбургское казачье войско. Челябинск, 2000; Андреев С.М. Сибирское казачье войско: возникновение, становление, развитие (1808–1917 гг.). Омск, 2006 и др.
- <sup>74</sup> История Казахстана в русских источниках XVI–XX веков. Алматы, 2006. Т. VII. Г.Н. Потанин. Исследования и материалы. С. 329–330.
- <sup>75</sup> Путинцев М. От Семипалатинска до Копала (Из путевых заметок) // Военный сборник. 1865. № 12. С. 378.
- <sup>76</sup> По проекту положения Киргизской Степной комиссии об управлении киргизскими степями (1868 г.) // РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 120.
- <sup>77</sup> История казачества Азиатской России. Т. 2. С. 30–31.
- <sup>78</sup> Махрова Т.К. Казачество Урала и власть. М., 2004. С. 75.
- <sup>79</sup> Костенко Ю. Уральское казачье войско. Исторический очерк и система отбывания воинской повинности // Военный сборник. 1878. № 9. С. 165, 308.
- <sup>80</sup> РГВИА.Ф. 400. Оп. 1. Д. 125: Дело о Киргизской степной комиссии по составлению проекта положения об управлении в Киргизских степях и Туркестанском крае. (1868–1869). Л. 117–118.
- <sup>81</sup> Гейнс А.К. Собрание литературных трудов. СПб., 1897. Т. 1. С. 117, 211.
- <sup>82</sup> Там же. С. 117.
- <sup>83</sup> Бабков И.Ф. Воспоминания о моей службе в Западной Сибири. 1859–1875. СПб., 1912. С. 344.
- <sup>84</sup> Венюков М.И. Вопрос о колонизации // Время. 1861. № 10. С. 5.
- <sup>85</sup> Политико-экономический комитет при Императорском Русском географическом обществе. Заседание 22 марта 1861 г. // Век. 1861. № 15.
- <sup>86</sup> Записка Генерального штаба капитана Венюкова о стратегическом положении Заилейского края (июль 1860 г.) // Отдел рукописей Российской государственной библиотеки. (Далее: ОР РГБ). Ф. 363. Карт. 3. № 3. Л. 8.
- <sup>87</sup> Венюков М.И. Опыт военного обозрения русских границ в Азии. СПб., 1873. Вып. 1. С. 105.
- <sup>88</sup> Кукель Б.К. Из эпохи присоединения Приамурского края // Граф Н.Н. Муравьев-Амурский в воспоминаниях современников. Новосибирск, 1998. С. 232.



- <sup>89</sup> *Пржевальский Н.М.* Путешествие в Уссурийском крае. С. 226 – 227.
- <sup>90</sup> Мнение контр-адмирала А.Е. Кроуна по вопросу об устройстве Приамурского края (30 июня 1872 г.) // Российский государственный архив Военно-морского флота. (Далее: РГА ВМФ). Ф. 410. Оп. 2. Д. 4246. Л. 220.
- <sup>91</sup> «О возможной войне с Китаем» полковника Генерального штаба Н.М. Пржевальского (Урга, 22 окт. 1880 г.) // Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии. СПб., 1883. Вып. I. С. 299 – 300.
- <sup>92</sup> [*Нагаров И.П.*] Северно-Уссурийский край // Там же. СПб., 1887. Вып. 27. С. 136.
- <sup>93</sup> *Болховитинов А.М.* Указ. соч. С. 219.
- <sup>94</sup> *Marks S.G.* Road to Power. The Trans-Siberian Railroad and the Colonization of Asian Russia 1850 – 1917. Ithaca; N.Y., 1991. P. 26 – 27.
- <sup>95</sup> Уссурийское казачье войско: история и современность. Владивосток, 1999. С. 14 – 16.
- <sup>96</sup> Извлечение из журналов образованной в Хабаровске в 1909 г. комиссии по колониационному делу // Архив внешней политики Российской империи. (Далее: АВПРИ). Ф. Тихоокеанский стол. Оп. 487. Д. 762. Л. 472.
- <sup>97</sup> Записка ГУЗиЗ «Об использовании для целей крестьянской колонизации земель, отведенных бывшим приамурским генерал-губернатором Духовским Амурскому и Уссурийским войскам» (7 янв. 1910 г.) // Там же. Л. 328 – 337.
- <sup>98</sup> *Кабузан В.М.* Дальневосточный край в XVII – начале XX в. (1640 – 1917). Историко-демографический очерк. М., 1985. С. 151; *Рыбаковский Л.Л.* Население Дальнего Востока за 150 лет. М. 1990. С. 21.
- <sup>99</sup> *Легенев Н.З.* История Семиреченского казачьего войска. Верный, 1908. С. 174 – 175.
- <sup>100</sup> *Бабков И.Ф.* Общий взгляд на устройство русских поселений в северо-восточной части Киргизской степи // Известия ИРГО. 1869. С. 36 – 37.
- <sup>101</sup> *Краснов Н.* Народонаселенность и территория казаков Европы и Азиатской России // Военный сборник. 1878. № 4. С. 264.
- <sup>102</sup> *Раглов В.В.* Из Сибири: страницы дневника. М., 1989. С. 74 – 75.
- <sup>103</sup> Оренбургское казачье войско // Военный сборник. 1874. № 5. С. 98.
- <sup>104</sup> Всеподданнейший отчет военного губернатора Акмолинской области за 1872 г. // Государственный архив Оренбургской области. (Далее: ГАОО). Ф. 3. Оп. 7. Д. 11285. Л. 368.
- <sup>105</sup> 1895 г. декабря 30. – Отчет Семиреченского губернатора о населении, включая казачество, и хозяйственной деятельности в Семиреченской области // Казачьи войска Азиатской России в XVIII – начале XX века (Астраханское, Оренбургское, Сибирское, Семиреченское, Уральское). М., 2000. С. 273 – 274.
- <sup>106</sup> *Седельников А.Н.* Распределение населения Киргизского края по территории, его этнографический состав, быт и культура // Россия. Полное географическое описание нашего отечества. СПб., 1903. Т. 18: (Киргизский край). С. 198.
- <sup>107</sup> Заметки о хозяйстве казаков Акмолинской области // Степной край. 1895. 22 июня.
- <sup>108</sup> *В.Г.* Семиречье и переселение // Туркестанские ведомости. 1913. № 99. 7 мая.
- <sup>109</sup> *Остафьев В.* Колонизация степных областей в связи с вопросом о кочевом хозяйстве // Записки ЗСО ИРГО. Омск, 1895. Кн. 18, вып. 1. С. 59.
- <sup>110</sup> *В.С. Цытович* «Заметки на докладную записку чиновника особых поручений Балкашина», 12 февраля 1877 г. // ГАОО. Ф. 3. Оп. 7. Д. 11587. Л. 150.
- <sup>111</sup> *Легенев Н.З.* История Семиреченского казачьего войска. С. 278.
- <sup>112</sup> И.д. степного генерал-губернатора Санников – министру внутренних дел, 12 июля 1900 г. // РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 2952. Л. 137.
- <sup>113</sup> К 1880 г. казаки составляли уже Оренбургском казачьем войске – 52,5%; в Уральском – 29,8%; Сибирском – 13,8%; Семиреченском – 22,8%; Забайкальском – 2,5%; Амурском – 1,0%. См.: История казачества Азиатской России. Екатеринбург, 1995. Т. 2. С. 37.

- <sup>114</sup> Уралец. Почему обеднели казаки // Великая Россия. Сборник статей по военным и общественным вопросам. М., [1911]. С. 211 – 212.
- <sup>115</sup> Донесение начальника Иркутского губернского жандармского управления В.О. Янковского об общем положении дел в Восточной Сибири (31 окт. 1875 г.) // Российские архивы. 1993. № 1. С. 95.
- <sup>116</sup> Докладная записка чиновника для особых поручений при приамурском генерал-губернаторе коллежского асессора Савримовича (21 окт. 1893 г.) // РГИА Дальнего Востока. Ф. 702. Оп. 3. Д. 93. Л. 32.
- <sup>117</sup> А.Б. Забытый полк // Сибирь. 1897. 16 февр.
- <sup>118</sup> «О возможной войне с Китаем» полковника Генерального штаба Н.М. Пржевальского... С. 299 – 300.
- <sup>119</sup> Раглов В.В. Из Сибири: Страницы из дневника. С. 83.
- <sup>120</sup> История казачества Азиатской России. Т. 2. С. 135.
- <sup>121</sup> Седельников А.Н. Распределение населения Киргизского края ... С. 198.
- <sup>122</sup> Оренбургское казачье войско // Военный сборник. 1874. № 6. С. 280.
- <sup>123</sup> Катанаев Г.Е. Хлебопашество в Бельгагачской безводной степи Алтайского горного округа // Записки ЗСО ИРГО. 1893. Кн. XV, вып. II. С. 23.
- <sup>124</sup> Хотя о случаях заимствования языческих верований этнографы и миссионеры нередко сообщали, но при этом влияния ислама или ламаизма на казаков не отмечено.
- <sup>125</sup> См. например, исследование, в котором используется именно такой подход: *Malikov A.A. Formation of a Borderland Culture: Myths and Realities of Cossak -Kazakh Relations in Northern Kazakhstan in the Eighteenth and Nineteenth Centuries: Diss. Santa Barbara: Univ. of Calif., 2006.*
- <sup>126</sup> Благоевещенский. Записки о Сибири // Вестник Европы. 1882. Т. 5. С. 323.
- <sup>127</sup> Краснов Н. Народонаселенность и территория казаков Европы и Азиатской России // Военный сборник. 1878. № 4. С. 265. Подробнее см.: *Крих А.А. Тюркский компонент в составе западносибирского казачества (первая половина XIX в.) // Азиатская Россия: люди и структуры империи. Омск, 2005. С. 512 – 525.*
- <sup>128</sup> Катанаев Г.Е. Хлебопашество в Бельгагачской безводной степи... С. 22.
- <sup>129</sup> История Казахстана в русских источниках XVI – XX веков. С. 306.
- <sup>130</sup> Катанаев Г.Е. Киргизский вопрос в Сибирском казачьем войске. Омск, 1904. С. 22.
- <sup>131</sup> Записка об улучшении хозяйственно-экономического быта киргизов Семипалатинской области (статского советника Попова и надворного советника Левицкого) // ГАОО. Ф. 3. Оп. 7. Д. 11587. Л. 57 – 58.
- <sup>132</sup> Головачев П. Сибирь. Природа. Люди. Жизнь. М., 1902. С. 136.
- <sup>133</sup> Тема эта особенно чувствительна в современном национальном нарративе и обращает повышенное внимание, на пример, казахстанских историков. См.: *Абдиров М.Ж. Завоевание Казахстана царской Россией и борьба казахского народа за независимость. (Из истории военно-казачьей колонизации края в конце XVI – начала XX в.). Астана, 2000.*
- <sup>134</sup> Хорошкин М. Забайкалье (Очерк) // Военный сборник. 1893. № 9. С. 148.
- <sup>135</sup> Александров В. Аргунь и Приаргунье. Путевые заметки и очерки // Вестник Европы. 1904. № 9. С. 283.
- <sup>136</sup> Седельников А.Н. Распределение населения Киргизского края. С. 188.
- <sup>137</sup> Казачьи войска Азиатской России. С. 273.
- <sup>138</sup> Государственная дума. Четвертый созыв. Стенографические отчеты. Сессия I. СПб., 1913. Ч. III. Стб. 1421 – 1423.
- <sup>139</sup> Подробнее о распространенном в российском образованном обществе взгляде на крестьян см.: *Коцонис Я. Как крестьян делали отсталыми. Сельскохозяйственные кооперативы и аграрный вопрос в России, 1861 – 1914. М., 2006.*
- <sup>140</sup> Кауфман А.А. Вопросы переселения. I: Переселение и колонизация (Речь на диспуте) // Русская мысль. 1908. № 6. С. 346.
- <sup>141</sup> Викт. Шнэ. Переселение в Семипалатинскую область // Степной край. 1895. 19 окт. № 76.

- <sup>142</sup> *Кауфман А.А.* Наш Дальний Восток и его колонизация // Русская мысль. 1909. № 12. С. 57.
- <sup>143</sup> Записка военного губернатора Приморской области генерал-майора Тихменева «О заселении Приморской области» // Сборник главнейших официальных документов по управлению Восточной Сибирью. Т. II, вып. II. С. 11.
- <sup>144</sup> Из донесения Генерал-губернатора Восточной Сибири МВД. 13.10.1883.// Там же. Т. II, вып. III: О кругосветном переселении в Южно-Уссурийский край 1-й партии переселенцев, отправляемой из Одессы в 1883 г. С. 246.
- <sup>145</sup> *Иванов А.* Русская колонизация в Туркестанском крае // Русский вестник. 1890. № 11/12. С. 245.
- <sup>146</sup> *Русский.* К вопросу о колонизации киргизских степей // Сибирь. 1897. 18 июня. № 70.
- <sup>147</sup> *Деглов В.А.* Переселенцы и новые места. Путевые заметки. СПб., 1894. С. 57 – 58.
- <sup>148</sup> Естественно, что «бродячий кустанаец» был не единственным вариантом русского колонизатора. А.А. Кауфман в нескольких своих работах по переселению неоднократно утверждал, что русский переселенец неоднородное явление, а собирательный тип. В качестве составляющих компонентов этого целого он выделял: «пионера-таежника», «трудолюбивого латыша и белоруса», «переселенца-ростовщика», «казака – помещика» и др.
- <sup>149</sup> РГИА.Ф. 379. Оп. 1. Д. 37.
- <sup>150</sup> *Пт-нь Ал.* Киевские переселенцы и переселенческое дело в Ферганской области // Северный вестник. 1898. № 8/9. С. 192.
- <sup>151</sup> *В. О-въ.* Одна из сторон сибирского хозяйства // Степной край. 1895. 12 окт.
- <sup>152</sup> Юбилейный сборник Западно-Сибирского отдела Императорского Русского географического общества. Омск, 1902. С. 103.
- <sup>153</sup> *Кочаровский К.* Переселенцы в Азиатской России // Записки ЗСО ИРГО. Омск, 1893. Кн. XVI. Вып. I.С. 31.
- <sup>154</sup> *В. О-въ.* Одна из сторон сибирского хозяйства // Степной край. 1895. 12 окт.
- <sup>155</sup> Сборник главнейших официальных документов по управлению Восточной Сибирью. Т. II; вып. III. С. 14.
- <sup>156</sup> *Кауфман А.А.* Переселение. С. 18; *Он же.* Переселение и колонизация. СПб., 1905. С. 319.
- <sup>157</sup> *Исаев А.А.* Переселения в русском народном хозяйстве. СПб., 1891. С. 170 – 171.
- <sup>158</sup> *Гейер И.* Переселенцы в Туркестане // Северный вестник. 1893. № 7. С. 6.
- <sup>159</sup> Цит. по: *Гинзбург А.И.* Русское население в Туркестане (конец XIX – начало XX века). М., 1991. С. 95.
- <sup>160</sup> *Бирюкович В.* На новых местах // Северный вестник. 1896. № 12. С. 232. См. также: *Плотников А.Ф.* (Пристав 5 стана Томского уезда) Нарымский край (5 стан Томского уезда, Томской губернии) / Записки ИРГО по отделению статистики. СПб., 1901. Т. X. Вып. I.
- <sup>161</sup> *Шмурло Е.* Русские поселения за южным Алтайским хребтом на китайской границе // Записки ЗСО ИРГО. Омск, 1898. Кн. 25. С. 63.
- <sup>162</sup> *Гинс Г.К.* В Киргизских аулах (Очерки из поездки по Семиречью) // Исторический вестник. 1913. № 10. С. 331 – 332.
- <sup>163</sup> *Термен А.И.* Среди бурят Иркутской губернии и Забайкальской области: Очерки и впечатления. СПб., 1912. С. 13.
- <sup>164</sup> Омские епархиальные ведомости. 1914. № 11. С. 23.
- <sup>165</sup> *Geraci R.* Going Abroad or Going to Russia? Orthodox Missionaries in the Kazakh Steppe, 1881 – 1917 // Of Religion and Empire. Missions, Conversion, and Tolerance in Tsarist Russia. Ithaca; L., 2001. P. 304 – 309.
- <sup>166</sup> *Михайлов Г.П.* Староверы, как колонизаторы Уссурийского края // Сибирские вопросы. 1905. № 1. С. 252 – 253.
- <sup>167</sup> *Унтербергер П.Ф.* Приамурский край. 1906 – 1910 гг. СПб., 1912. С. 18.
- <sup>168</sup> См. подробнее: *Сандерланд В.* Русские превращаются в якутов? «Обычно-родчивание» и проблемы русской национальной идентичности на Севере Сибири,

1870 – 1914 // Российская империя в зарубежной историографии: Работы последних лет. М., 2005. С. 199 – 227.

<sup>169</sup> Особенно см.: *Ядринцев Н.М.* Русская народность на Востоке // Дело. 1874. № 11. С. 297 – 340.

<sup>170</sup> *Потанин Г.Н.* Сибирские казаки // Живописная Россия. Западная Сибирь. СПб., 1884. Т. XI. С. 77 – 78.

<sup>171</sup> *Головачев П.* Сибирь. Природа. Люди. Жизнь. М., 1902. С. 143 – 145.

<sup>172</sup> Путевые письма И.А. Гончарова // Литературное наследство. М., 1935. Т. 22 – 24. С. 423 – 424.

<sup>173</sup> *Майнов И.И.* Русские крестьяне и оседлые инородцы Якутской области. СПб., 1912. С. 55.

<sup>174</sup> *Иванов А.* Одна из наших окраин // Русский вестник. 1889. № 11. С. 178.

<sup>175</sup> П.В. Казакевич – М.С. Корсакову (24 июня 1864 г.) // РГИА Дальнего Востока. Ф. 87. Оп. 1. Д. 287. Л. 29.

<sup>176</sup> *Осокин Г.М.* Московия на Востоке // Русский разлив. М., 1996. Т. 2. С. 145.

<sup>177</sup> Так, в одном из откликов на книгу Н.М. Ядринцева «Сибирь как колония» были названы подобного рода преувеличения этнографов и впечатлительных «туристов». – См.: *К[анус]тин С.Я.* Зеркало России // Русская мысль. 1883. № 1. Позднее Ядринцев не оставит эту тему и постарается развить ее в своей новой книге «Сибирские инородцы, их быт и современное положение» (СПб., 1891). Эта тема станет предметом острой полемики, в которую будут включены не только этнографы, но и националистически настроенные адепты «обрусения» инородцев. См., например: *Смирнов И.Н.* Обрусение инородцев и задачи обрусительной политики // Исторический вестник. 1892. № 3. С. 725 – 765; *Харузин Н.Н.* К вопросу об ассимиляционной способности русского народа // Этнографическое обозрение. 1894. Кн. 23, № 4. С. 43 – 78.

<sup>178</sup> Всеподданнейший отчет Степного генерал-губернатора за 1910 г. Омск, [б.г.] С. 21.

<sup>179</sup> *Петри Э.* Сибирь как колония // Сибирский сборник. СПб., 1886. Кн. II. С. 93.

<sup>180</sup> *Головачев П.* Сибирь. Природа. Люди. Жизнь. М., 1902. С. 143 – 145; *Кузнецов В.К.* Русские старожилы в Сибири и Средней Азии // Азиатская Россия. Т. 1. С. 185 – 187. *Сверкунова Н.В.* Региональная сибирская идентичность: опыт социологического анализа. СПб., 2002.

<sup>181</sup> *Врангель А.Е.* Воспоминания о Ф.М. Достоевском в Сибири. СПб., 1912. С. 21.

<sup>182</sup> *Кропоткин П.А.* Письма из Восточной Сибири. Иркутск, 1983. С. 46 – 47.

<sup>183</sup> *Суворов П.П.* Записки о прошлом. М., 1898. Ч. 1. С. 140.

<sup>184</sup> *Прыжов И.Г.* 26 московских пророков, юродивых, дур и дураков и другие труды по русской истории и этнографии. М.; СПб., 1996. С. 181.

<sup>185</sup> *Елпатьевский С.Я.* Чужая земля // Страна без границ. Тюмень, 1998. Кн. I. С. 133.

<sup>186</sup> *Астырев Н.М.* Очерки быта населения Восточной Сибири // Русская мысль. 1890. № 10. С. 94.

<sup>187</sup> *Кауфман А.А.* По новым местам (очерки и путевые заметки) 1901 – 1903. СПб., 1905. С. 46, 48.

<sup>188</sup> *Успенский Г.И.* Полн. собр. соч. Киев, 1903. Т. XI. С. 83 – 86, 159 – 165.

<sup>189</sup> Подробнее см.: *Ремнев А.В.* Колония или окраина? Сибирь в имперском дискурсе XIX века // Российская империя: стратегии стабилизации и опыта обновления. Воронеж, 2004. С. 112 – 146; *Он же.* Михаил Никифорович Катков в поисках «сибирского сепаратизма» // Личность в истории Сибири XVIII – XX веков. Новосибирск, 2007. С. 64 – 80.

<sup>190</sup> Речь главного управляющего землеустройством и земледелием кн. Б.А. Васильчикова в комиссии Государственной думы по переселенческому делу, 5 декабря 1907 г. // Вопросы колонизации. [1908]. № 2. С. 422 – 423.

<sup>191</sup> *Гарин-Михайловский Н.Г.* По Корею, Маньчжурии и Ляодунскому полуострову // Гарин-Михайловский Н.Г. Собр. соч. М., 1958. Т. 5. С. 21 – 22.

<sup>192</sup> *Кауфман А.А.* Наш Дальний Восток и его колонизация // Русская мысль. 1909. № 12. С. 65.

<sup>193</sup> Церковное дело в районе Сибирской железной дороги // Россия. Комитет Сибирской железной дороги (Материалы). Б.м., [1894]. Т.1. С. 116.

<sup>194</sup> *Куломзин А.Н.* Пережитое // РГИА.Ф. 1642. Оп. 1. Д. 204. Л. 107.

<sup>195</sup> Там же. Д. 204. Л. 107; Д. 202. Л. 37.

<sup>196</sup> Записка председателя Совета министров и главноуправляющего землеустройством и земледелием о поездке в Сибирь и Поволжье в 1910 г. СПб., 1910. С. 124.